



ТЕОДОР
ШЦМОВСКИЙ

СВЕТ
С ВОСТОКА



Теодор Шумовский

Свет с Востока

«СОЮЗ»

Шумовский Т. А.

Свет с Востока / Т. А. Шумовский — «СОЮЗ»,

Российский лингвист-востоковед, арабист, автор первого поэтического перевода Корана на русский язык – Теодор Адамович Шумовский прожил долгую жизнь длиною почти в сто лет. Ему выпало счастье учиться у классиков отечественной арабистики и исламоведения Н.В. Юшманова и И.Ю. Крачковского. Он знал двадцать два языка, изучить которые, по словам самого Теодора Адамовича ему помогли – неволя и годы ссылки, которые продлились долгие восемнадцать лет. Он стал автором нескольких книг, в которых представил альтернативный взгляд на развитие арабистики в Советском союзе. Он подготовил и опубликовал критическое издание «Арабской морской энциклопедии», а также научно-популярные книги «По следам Синдбада-морехода. Океанская Аравия» и «Последний «лев арабских морей»». Он сформулировал свои взгляды на лингвистический процесс в «Ороксологии» и написал автобиографическую книгу «Свет с Востока». Книгу о драматической истории России и российской науки, рассказанной от первого лица. Это книга воспоминаний, «охватывающая период с дореволюционных лет до постсоветского времени». Она о судьбе интеллигента, и значительная часть её, созвучна произведениям русской литературы, которые говорят о силе и трагизме русского характера, о выборе, о борьбе между добром и злом, о контрастности нашей жизни. Это книга о личности, о человеческом достоинстве, – о разнице между мечтой и жизнью. Как пишет автор в Прологе к книге: «Если бы мне предложили прожить эту жизнь снова, – так, как она сложилась, а не мечталась, – согласился бы?» И отвечает на это: «Сейчас, с дистанции пережитого, отвечу, что да. Потому что, только делая шаги в неизвестное, мы можем понять и реализовать себя.»

© Шумовский Т. А.

© СОЮЗ

Содержание

Пролог	7
Книга первая	8
Шуша	8
Город на четырех реках	10
В гостях у шемаханской царицы	12
Как стать арабистом?	18
Первый учитель	22
Школа Крачковского	28
Поэт при дворе Ширваншахов	37
Книга вторая	46
У «всех скорбящих радости»	46
За двумя вокзалами	57
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Теодор Адамович Шумовский

Свет с востока

© Т.А. Шумовский (наследники)

© ИП Воробьев В.А.

© ИД СОЮЗ



По перепутьям северной столицы
Летит атлант на взмыленном коне,
И чопорная тень императрицы
В венецианском мечется окне.

Лист за листом роняет клен поникший
На шепот вод, на сонную струю.
Брожу один, усталый и притихший,
И вспоминаю молодость мою.

И на своей когда грущу я тризне,
Одна мне мысль покоя не дает:
Что листья мы на вечных водах жизни,
Что все пройдет – метанья и полет.

Пролог

Редкий в наших краях безоблачный и жаркий сентябрьский день – стоит бабье лето. Привольно раскинувшись, Нева медленно несет свои воды на запад – мимо Петропавловской крепости, мимо статуй Зимнего дворца, задумчиво глядящих на свое трепетное отражение в реке, от чугунных львов к каменным сфинксам, мимо Адмиралтейства и Кунсткамеры, мимо холодного полукруга Сената и дворца полудержавного властелина, кончившего жизнь узником в далеком Березове, мимо Иностранной коллегии с дверью, в которую входили Пушкин и Грибоедов, мимо гордого обелиска «Румянцева победам» и Академии художеств...

Академический дом с двадцатью шестью мемориальными досками. Здесь семьдесят лет назад я впервые встретился с моим будущим учителем и наставником, академиком И. Ю. Крачковским, помню его пронзительный взгляд, дружеское рукопожатие...

Здесь начался мой путь в арабистику. Я мечтал о путешествии на восток, древних рукописях, затерянных в пустынях оазисах, караванных путях и гортанных криках бедуинов... Предстояло многое и разное, что я тогда не мог предполагать, но увлечение востоком всегда было моей движущей силой, востоковедение – моей путеводной звездой. Еще римляне сказали: «ex oriente lux» – «с Востока свет»...

Если бы мне предложили прожить эту жизнь снова – так как она сложилась, а не мечталась, – согласился бы? Сейчас, с дистанции пережитого, отвечу, что да. Потому что, только делая шаги в неизвестное, мы можем понять и реализовать себя, и хотя бы отчасти понять великого Ньютона, слова которого стояли передо мной в часы работы над этой книгой: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском берегу... в то время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным».

Т. А. Шумовский, Санкт-Петербург, 2006

Книга первая У моря арабистики

Спросили Александра Македонского: «Почему наставника своего, Аристотеля, почитаешь ты более, чем царя Филиппа, отца своего?» – «Отец, – отвечал Александр, – воспитав мое тело, низвел меня с неба на землю; но Аристотель, воспитав душу мою, поднял меня от земли в небо».

Восточное предание

Шуша

Спасаясь от бедствий первой мировой войны, мои родители с четырьмя сыновьями, старшему из которых было 13 лет, в 1915 году переехали из Украины в Закавказье.

Самое раннее воспоминание моей жизни: большая комната, два окна; у простенка между окнами – рояль, на нем играет мама; обрамленное волнистыми черными волосами, ее лицо сосредоточено, а глаза светятся – так всегда, когда она предается музыке. Трехлетний мальчик, я стою рядом. Вдруг за окном зазмеилась молния, прозвучал гром. Я испуганно уткнулся в мамины колени, она сняла руку с клавиш, положила ее на мою голову, и я сразу успокоился.

Мама каждое лето, преодолевая опасения перед кипевшей войной, ездила на Воынь, чтобы навестить своего отца, служившего управляющим имением князя Сангушко. В 1918 году, отправившись туда в очередной раз, она не вернулась. Наш папа послал запрос на имя тестя. Письмо пришло обратно с почтовой надписью «Не доставлено за смертью адресата». А мама, как стало известно много позже, в числе беженцев оказалась в Польше.

Непостижимым образом мама разыскала нас в 1926 году, когда мы уже давно обретались вдали от Шуши. Завязалась переписка, в ходе которой выяснилось: мама добывает средства к существованию уроками музыки в частных домах Варшавы. Потом уроков не стало, она переехала в Лодзь, где пришлось работать ткачихой. Наши (старшего брата Иосифа и мои) помыслы были направлены на то, чтобы организовать ее переезд к нам и создать условия для отдыха после пережитых ею тягот. Весной 1932 года, будучи в Москве, я сделал ради этого все, что мог. Осенью мама приехала в Советский Союз, разбитая двусторонним параличом. Она лежала в московской коммунальной квартире у доброй Веры Моисеевны (о которой будет говориться позже), а затем в больнице. Я в это время только что стал первокурсником петербургского института и смог повидаться с матерью лишь в праздничные дни 7–8 ноября 1932 года. Свидание оказалось последним. Мамы не стало 1 февраля 1933 года. Она прожила всего сорок восемь лет. Отправляясь на каникулы в Закавказье, я привез туда не ее, как первоначально предполагалось, а урну с ее прахом.

После маминого отъезда в 1918 году, когда она пропала, в нашей семье произошли перемены: отец вторично женился, появилась мачеха. В 1919 году первенец моих родителей 17-летний Станислав ушел добровольцем в Красную Армию. Национальность «поляк» он сменил на «украинец», отчество «Адамович» – на «Антонович». Довольно быстро продвигался вверх: в середине 1920-х годов прислал фотографию, на которой был изображен в мундире с тремя ромбами на отвороте воротника. В то время достаточно было к трем ромбикам получить четвертый – и ты уже высший чин, «член реввоенсовета». Потом «Станислав Антонович» окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ им. Баумана), а в 1930 году в составе группы коммунистов-инженеров был послан совершенствовать свое образование в Массачусетском технологическом институте (США). Закончив последний, работал в совет-

ско-американском учреждении (Амторг). В 1938 году был отозван в СССР, назначен заместителем начальника Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), стал полковником инженерно-авиационной службы. Дальше, выше: был знаком с Молотовым и его супругой – Полиной Семеновной Жемчужиной (позже она была сослана Сталиным). Во время войны 1941–1945 годов «Станислава Антоновича» отправляли в США закупать авиамоторы. После 1946 года я уже никогда не видел этого человека, не имевшего со мной ничего общего кроме родителей, и переписки между нами не было.

Карабахский город Шуша, который развел полковника Шумовского с родителями и братьями, помнится мне еще несколькими именами: плотник Сарухан, домохозяйка Шушаник, солдат Яковенко, священник Феофилакт, знакомые отца Назаревичи, воинский начальник Рачковский. Судьба последнего была ужасной: в минуту революционной смуты какие-то люди ночью проникли в его квартиру, зарезали его и всю мирно спавшую семью. Был серый дождливый полдень, когда притихший мальчик, я смотрел сквозь окно на мерно колыхавшуюся похоронную процессию и слышал едва доносившиеся из-за стекол звуки гимна «Сколько славен наш Господь в Сионе / Не может вымолвить язык...»

В те беспокойные годы побывали в Шуше английские колониальные и турецкие войска. Рослые сипаи откуда-то таскали на плечах камни, чтобы замостить площадь перед казармой. Турки повесили пятерых спекулянтов, и цены в рассыпанных по городу частных лавках сразу упали, но жизнь от этого счастливее не стала.

Город на четырех реках

Эти слова звучат громко, так уж захотелось. А в действительности через азербайджанский город Агдаш, куда мы переехали в начале 1920 года, протекали четыре канавы. Полу-денный летний зной загонял туда буйволов, они блаженствовали в прохладе желтой болотной воды.

Семья наша поселилась на втором этаже большого каменного дома; при доме был сад и просторный двор. По-видимому, некогда в здании помещалась гостиница: на это указывала металлическая вывеска с надписью «Россия», укрепленная над въездом во двор. Теперь дом принадлежал азербайджанцу-извозчику Багишу и его жене Гюли. Кроме нас комнаты у них снимали молодая красивая медичка Розалия Петровна, тайно влюбленный в нее врач Владимир Николаевич с женой Ниной Александровной и отцом Николаем Николаевичем Николаевым. Поодаль во дворе стоял особняк, в котором проживал уездный начальник Шихлинский. Иногда к особняку подкатывал фаэтон, Шихлинский и его домочадцы отправлялись на прогулку.

В городе порой устраивались военные смотры. Солдаты выстраивались в линию, на переднем крае четко выделялись один в голубом мундире, другой – в красном, остальные были кто в чем.

Потом все изменилось: 28 апреля 1920 года Российская одиннадцатая армия во главе с Кировым и Орджоникидзе доставила в Азербайджан Советскую власть. Агдаш наводнили красноармейцы, четырех из них во главе с неким Долговым определили к нам на временный постой. Уездного начальника Шихлинского толпа горожан подняла на руки, раскачала и бросила в канаву.

Как и в Шуше, отец наш и мачеха в это время работали в местном казначействе, позже преобразованном в УФО (уездный финансовый отдел). Вскоре, 1 февраля 1920 года, к ним присоединился мой старший шестнадцатилетний брат Иосиф – в семье достаток был невелик.

Уходя на работу, взрослые оставляли меня, семилетнего, на попечении старшего брата, двенадцатилетнего Казимира. Красивый мальчик с тонкими чертами лица, Казимир (мы звали его «Казик») относился ко мне покровительственно, порой несколько властно. Однажды, в день моего рождения, он увидел за окном двух знакомых девочек, спешивших по двору к нам. «Лезь под кровать!» – скомандовал он мне. – «Зачем?» – «Мы живем бедно, – нетерпеливо ответил Казик – ты ходишь в лохмотьях. Девочки идут поздравлять, но они не должны видеть виновника торжества, тебя, оборванным. Лезь!» Я повиновался и, лежа под кроватью, слышал: нежданные гости вошли, спросили, где я. «Он ушел» – сказал брат. «Как жаль» – вздохнули девочки, затем вежливо, на «вы» (Казик был чуть постарше их) проговорили: «Скажите ему, что мы его поздравляем, и передайте в подарок вот это. До свидания». «Это» представляло собой книжку «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Мы с Казиком иногда уходили за город, купались в «речке», то есть в канаве, протекавшей среди редколесья. Но больше этого брат мой любил театр. Он стал деятельным участником самодеятельной детской группы, они ставили на сцене пьесу, из которой Казик часто повторял нравившиеся ему слова: «Ведьма изжарилась и лопнула!» В Агдаше было довольно многочисленное русскоязычное население, поэтому образовался и самодеятельный театр для взрослых. Чаще всего там ставили спектакль «Иванов Павел». Речь шла о гимназисте-неудачнике.

Мать гимназиста просит:

Павлик, Павлик, занимайся,
Даром время не теряй.

Для меня хоть постарайся
И в носу не ковырай.

Сын отвечает:

Надоели мне науки,
Ни черта в них не понять.
Просидел насквозь я брюки,
Не в чем выйти погулять.

Приходит время, Павлику устраивают экзамен.

Учитель математики:

Разрешите наудачу
Вы из алгебры задачу:
Сколько ведер из бассейна
Можно выкачать портвейна?

Учитель истории:

А в конце какого века
Был основан город Мекка?
А какие папиросы
Курил Фридрих Барбаросса?

Другие преподаватели своими вопросами такого же рода окончательно добивали несчастного Павла Иванова, он проваливается... под пол сцены. Смех и вздохи зрителей, они расходятся.

...Внезапно Казик заболел: тропическая малярия. Сперва лежал дома, потом брат Иосиф отвел его в больницу. Навещал его, как только освобождался от работы в казначействе, навещал, а однажды в слезах сообщил: Казик умер. Это было в пятницу 5 августа 1921 года. И вот у нас в комнате на двух стульях – гроб, в нем навеки смолкший худенький мальчик с восковым лицом и тонкими скрещенными пальцами.

Едва схоронили Казимира, заболел почти двухлетний сын отца от второго брака Антон. Вновь тропическая малярия, на этот раз ей было присуще стремительное развитие. В пятницу 12 августа 1921 года мы с отцом сидели у постели больного ребенка. Папа страстно молился, просил Бога сохранить жизнь маленькому, неподвижно простертому страдальцу. Антон скончался во время этой молитвы, у нас на глазах.

Отец попросил бакинское начальство перевести его по службе в местность с более здоровым климатом. Ему предложили на выбор два города в южных предгорьях Кавказского хребта, это были Нуха и Шемаха. Отец выбрал второй из них. В первые дни 1922 года мы двинулись из Агдаша к железнодорожной станции Ляки, оттуда поездом до станции Кюрдамир, оттуда молочанин Василий Калмыков взялся довести нас до места назначения. После ночевки в попутном селении Шарадиль 14 января 1922 года мы въехали в Шемаху. Усталые кони, фургон остановились на длинной и узкой главной улице.

В гостях у шемаханской царицы

Девятилетний, живший детскими впечатлениями, я еще не знал тогда, что новое место жительства определит мой жизненный путь, что именно здесь отыщет меня дело всей моей жизни.

Казалось, череда будничных дней не обещала потрясений, все шло заведенным порядком: отец стал работать финансовым инспектором, брат Иосиф поступил на службу в казначейство. У мачехи появился новый ребенок, она пока не работала. А я, еще не учившийся в школе – дома об этом не говорилось, взрослые были заняты добыванием хлеба насущного – я постепенно знакомился с Шемахой. Этому способствовал Иосиф, единственный оставшийся у меня брат. Вернувшись со службы, он после обеда отправлялся со мной на прогулку по городу. Началом удовольствия было то, что он покупал на улице за сорок копеек фунт местной кунжутной халвы или в частной лавке фунт орехов либо каштанов (о килограммах тогда не знали). Затем, вкушая купленные лакомства, мы не спеша шли, например, к старой, царского времени, военной церкви или разрушенному армянскому храму. Иосиф их рисовал, он был прекрасным рисовальщиком, потом мы возвращались домой. Обзор памятников постепенно расширялся.

Прогулки все более пробуждали во мне интерес к окружающему миру. Дома были книги: Некрасов, Гоголь; том, содержащий несколько сказок из «Тысячи и одной ночи»; наконец, побывавший во многих руках, лишенный множества первых и последних страниц учебник всеобщей истории в художественном изложении. Будь у нас тогда еще и сочинения XV века – «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, можно было бы увидеть, что там Шамахея, то есть Шемаха, упоминается не один раз. Я как-то незаметно для себя узнал назначение букв – не помог ли в этом все тот же Иосиф? – и постижение грамоты последовательно раскрывало передо мной тайны книг. Остро запомнились «Кому на Руси жить хорошо», «Тарас Бульба», «Ревизор». Со страниц «Тысячи и одной ночи» ко мне несся запах восточного Средневековья, все на этих страницах манило своей загадочностью. А вот на столе передо мной учебник истории. Мелькают забытые миром имена: Хлодвиг, Родерик, Аттіла... Время сделало тени этих людей прозрачными, бесплотными, а ведь когда-то... когда-то каждое из этих имен исторгало гром. Однако они вдруг бледнеют и в моих глазах, потому что я вижу новые слова: «испанские арабы», «мавританская Испания», «гренадский эмират, Альгамбра»... Таинственно, звучно – и однако же, как «верблюжатники» – арабы – смогли пробраться к дальнему европейскому полуострову, в мир чужой культуры, зачем им это было нужно? Я долго разглядывал старинный географический атлас, вопросы не уходили, а множились.

Когда мне пошел одиннадцатый год, я записался в городскую библиотеку. Там правил азербайджанец, тогда говорили «тюрок», Садыхов – недавний красноармеец, ныне с костылями и протезами вместо ног. Он аккуратно записывал названия отпускаемых мне книг, всегда был вежлив, благожелателен. Но вскоре садыховских книжных богатств перестало хватать, я стал оглядываться по сторонам.

Мы жили в Шемахе уже два года, за это время у нашей семьи появилось много знакомых как среди «тюрок», так и в среде русскоязычных жителей.

Александр Николаевич Арнольд. Когда-то блестящий офицер лейб-гвардии в Петербурге, он в 1909 году вышел в отставку, имея чин полковника, переехал в Среднюю Азию, потом на Кавказ. Теперь этот одинокий старец, постоянно бывший «под мухой», жил в крохотной комнатке переполненного жильцами дома. Мебели почти не было; единственным сокровищем Александра Николаевича являлся альбом с фотографиями из навек ушедшего петербургского прошлого. Достаток у полковника были весьма скромным, в основном деньги уходили на приобретение водки, поэтому он обедал по очереди у разных знакомых, в том числе у нас. Арнольд был красноречивым рассказчиком – восседая в гостях, сыпал анекдотами и воспоми-

нениями. Вероятно, речевой дар внушал ему постоянное желание выступать на сцене городского (единственного) клуба. Наш Иосиф рисовал ему афиши, а во время спектаклей превращался в суфлера. Ставились пьесы Чехова «Медведь», «Юбилей». Хлебнув перед выходом на сцену «горячительного» напитка «для храбрости», Александр Николаевич появлялся перед зрителями и гремел:

«Двенадцать женщин бросил я! Девять женщин бросили меня! Да, господа!»

Однажды Александр Николаевич и адвокат Кегель открыли винный магазин. Товар им одолжил знакомый винодел, армянин Мисак. Заведение просуществовало одну неделю, потому что оба его устроителя сами опустошили все бутылки. Так утверждали разносчики городских новостей.

Было в Шемахе и несколько русских землемеров. Где и как они работали, видеть не пришлось, но помнится, как в дневное время они появлялись в пустующем городском клубе, шумно беседовали (наша квартира находилась в соседнем помещении), потом дело доходило до песни – у кого-то из них был приятный баритон:

Есть в Батавии маленький дом
На окраине где-то, с окном,
И в двенадцать часов
Китаец-слуга
Снимает с дверей засов.

И за тенью является тень,
И скрипит под ногами ступень,
И дрожит перепуганный мрак
От частых споров, скандалов и драк.

Из-за пары потрепанных кос
С оборванцем подрался матрос,
И два тела сплелись, и над ними, дрожа,
Сверкнул огнем блеск ножа...

Помню еще и радиомеханика Ивана Попова, который кроме того был киномехаником. Именно он привозил из Баку ленты в коробках, прокручивал их перед зрителями. В Шемахе смеркалось рано, сеансы проходили в просторном дворе, уставленном скамейками. Экраном служили сшитые простыни, навешанные на глухую стену выходившего во двор дома. В таком кинотеатре я увидел фильмы «Девушка с коробкой», «Знак Зорро», «Абрек Заур», «Месс Менд» и несколько других картин, бывших в прокате на исходе 1920-х годов. «Киношник» Иван Попов, сам красиво рисовавший свои афиши, запомнился как человек с разнообразными культурными интересами; в памяти рядом с ним стоит работник райкома партии Петр Добрыднев, единственный в Шемахе эсперантист.

Говоря о знакомствах, следует сказать о наших с братом Иосифом необычных посещениях городской аптеки. Ходили мы туда не за лекарствами – подростком я лишь однажды и недолго болел свинкой. В аптеке нас встречали заведующий Воловец, фармацевт Кремер, молодой человек Валентин Ковельский. Мы проходили в заднюю комнату и устраивали «сыгровку», то есть играли на музыкальных инструментах пьесы по общему выбору. Иосиф с детства был неравнодушен к музыке: сперва своими руками изготовил балалайку; потом у приятеля своего Нихотина купил валявшуюся на чердаке сломанную гитару, починил, научил меня аккомпанировать его балалайке. По рисунку в дореволюционном журнале «Нива» смастерил

скрипку; рисунок представлял собой рекламу: «Юлий Генрих Циммерман, поставщик Двора Его Величества». Наконец, Иосиф сделал настольное пианино.

Однажды Иосиф и Касьянов музицировали на квартире последнего и заиграли гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Вдруг прибежала взволнованная соседка, малозаметная в городе дама по фамилии Дружинина: «Что вы делаете, перестаньте! Это запрещенная музыка, вас могут арестовать!» Говорили, что эта Дружинина вела отшельнический образ жизни и питалась более всего лисьим мясом...

Главный врач городской больницы, хирург Владимир Павлович Сазонов, был необыкновенен: в часы, свободные от занятий медициной, в нем сочетались фотограф и коллекционер бабочек, охотник и огородник, садовод и отчасти археолог. Знакомство мое с Владимиром Павловичем и его близкими началось с того, что одна из пяти его дочерей (были и сыновья), красавица Наташа, попросила меня дать ей почитать «Тысячу и одну ночь». Мог ли я отказать! Взамен сказок мне одолжили том Пушкина в голубом переплете и том Лермонтова в красном. Я жадно читал, новые впечатления, знания легко ложились в память. На двенадцатом году жизни, 8 октября 1924 года, я впервые пришел в школу. Супруга Владимира Павловича Сазонова – учительница Елизавета Ивановна – устроила мне вступительный экзамен: я прочитал вслух «Переправу» Аксакова, решил на доске предложенные арифметические примеры и был зачислен в третий класс. Кроме него преподавание на русском языке в Шемахе осуществлялось в таком же единственном пятом классе.

В моей памяти 1924 год отмечен и другими событиями.

В январе умер Ленин, и в городе зазвонил громадный колокол, не подававший голоса с последних дореволюционных лет. Колокол висел над помещением, похожим на келью. Здесь жили конторщик Ус, его жена, два сына-подростка – Петр и Павел. Колокольня была единственной уцелевшей во время гражданской войны частью православного собора, возведенного на холме в центре Шемахи. За жилищем Уса тянулись груды камней, напоминавших о бывших когда-то на их месте соборных стенах.

В феврале отец, вернувшись из Баку, где он был в командировке, подарил мне по случаю дня моего рождения три приобретенные им книги: «Фритьоф Нансен», «Басни Крылова» и «Как образовались горы на Земле» Рубакина.

А вскоре перед зданием казначейства запылал большой костер: сжигали деньги старого образца, тысячного и миллионного достоинства, потому что появились новые рубли, копейки. На пятирублевках было изображено лицо рабочего с твердыми чертами; на десятирублевках пестрели подписи членов Коллегии народного комиссариата финансов; копейки были бумажными. Теперь десяток яиц стоил двадцать копеек, и вспоминалось, что еще недавно за крохотную пачку таблеток сахара платили пятнадцать тысяч рублей. Жалованье теперь давали только деньгами, и снова вставало в памяти, как однажды в Агдаше отцу, брату Иосифу и мачехе за работу в течение месяца выдали по три арбуза, а в другой раз отвесили по несколько фунтов каштанов.

Летом 1924 года в Шемахе открылся первый государственный магазин – «кооператив». Он был одинок среди моря частных лавок. Его сразу «обчистили» ночные воры, наутро директор «кооператива» Долев горестно восседал на улице среди уцелевшей части товара. Зато приехавший из Баку молодой, со вкусом одетый Борис Ефимович Зельдин открыл аптеку; пожалуй, это было для шемахинцев поважнее, чем долевский магазин. А вскоре предприимчивый немец Гене открыл на той же главной улице Шемахи кондитерскую, где мастерски изготовленные десятикопеечные пирожные почти всегда были моей недостижимой мечтой.

...И вот – октябрь, школа. Началась моя школьная жизнь. «Вставай ото сна чуть пораньше, чтобы успеть занять свое место за партой; внимательно слушай Елизавету Ивановну: внимательно готовь уроки – дома их никто никогда не проверяет, даже не спрашивает о них. Тем больше ответственности лежит на тебе самом». Так говорил я себе, так старался

поступать. Через год Елизавета Ивановна переехала в Баку – возможности обучения подросших дочерей в Шемахе были исчерпаны, им стала нужной столичная школа – средняя, потом высшая. Место учительницы в моем классе заняла не слишком «отесанная», порой откровенно грубая Юлия Ивановна Воскресенская. Учителя менялись, в благодарной памяти живут Ольга Михайловна Шепелева-Корхова, Дмитрий Алексеевич Невядомский, Иван Харитонович Ясько, Фатали (Фатх Али) Фаталиевич Фаталибеков... И, конечно, вспоминается кое-что забавное, связанное с ними. Ученики из молоканских (сектантских при царизме) сел не могли запомнить названий латиноамериканских стран. «Как же так? – нетерпеливо спрашивает наш географ Невядомский. – Неужели так трудно запомнить? Смотрите – высовывает один палец из кулака: Уру – гвай! Смотрите (высовывает два пальца): Пара – гвай! Власов, Бучнев, Иорин, Половинкин – смотрите!»...

Бывало и другое. Проживала в Шемахе дама средних лет Павла Дмитриевна Артемьева. Неизвестно, где и кем она служила, только вот учила танцевать сазоновских младших дочек, Аню и Лену. Доныне в памяти звучит музыка, которой она сопровождала занятия, сидя за клубным (отнятым у Сазоновых) пианино. И вдруг стала Павла Дмитриевна учительницей математики. Был первый день занятий в нашем седьмом классе, когда, буквально влетев в классное помещение и не здороваясь, она резко спросила у всех нас: «Что такое коэффициент?»

Постепенно привыкнув к школьным занятиям, я стал все нетерпеливее, внимательнее приглядываться к Шемахе. Этому способствовали живые впечатления, которых накапливалось все больше, – они требовали объяснения, проникновения в глубины истории. Что и как было раньше, что из этого оставлено теперь для наших глаз и размышлений...

Если не предаваться текущим делам без остатка, а вдруг замедлить шаг, остановиться, приглядеться... Если всматриваться в то, мимо чего безучастно спешат прохожие... Шемаха оправдает надежды узнать нечто новое.

Иногда в город приезжал боец Сали Сулейман. Афиши изображали его обнаженным до пояса, на теле выделялись могучие мышцы. Он будет выступать в караван-сараях. Сперва по наложенным на него доскам пройдет грузовик. Потом он руками удержит две пары лошадей, рвущихся в разные стороны. Чудеса! Я глядел в афишу и передо мной незримо проходили страницы «Тысячи и одной ночи» с описанными на них необычными деяниями героев. Запах Востока! А вот – что это за толпа собралась в начале главной улицы, стремительно спускающейся к роднику, над которым – камень с высеченной на нем армянской надписью? Толпа. Зачем? Я пробираюсь мимо знакомых и незнакомых «тюрок», вижу: меж двух высоких столбов натянут канат. Сейчас по нему пойдет человек с шестом. Захватывающее и опасное представление – достаточно мельчайшей неточности шага и... Ужасно подумать о том, что таится за этим «и». Ничто не должно отвлечь смельчака, нужна полная тишина. За этим следят два горожанина в надетых для устрашения ослушников масках: один выбрал козлиную морду, другой – бычью. Толпа зрителей как-то протолкнула меня вперед, ко мне угрожающе повернулся «бык», я испуганно попятился. К счастью, канатоходец благополучно прошел от столба до столба, бывают же такие люди! «Смелость и совершенство нужны в каждом деле. Вот, быть бы похожим на этого канатоходца!» – с такой мыслью я покидал зрелище. И вновь этот запах Востока, малознакомый и волнующий: сколько тайн в каждом его дуновении! Восток... «В России-то, в западных странах по канатам не ходят», – подумалось мне.

Приглядишься – на каждом шагу восточный ветер в этой Шемахе, неистребимый след ее давнего прошлого. На главной площади перед уцелевшей колокольной российской собором расположился караван верблюдов. Животные легли, отдыхают, завтра погонщики поведут их куда-то дальше. А вот в некоторых дворах появляется торговец персидскими тканями – зеленый, желтый, синий шелк рядами уложен внутри деревянного корытца, примостившегося на голове продавца. Перед прекрасными покупательницами корытце быстро спускается с головы,

ткани расхваливаются. Увы, зайти можно не в каждый двор: за слепыми, без единого окна уличными стенами домов мужья оберегают своих красавиц от всяких искушений. Вздохнув, человек с корытцем ищет новые места сбыта своего товара. Но что это за глубокие шрамы, пересекающие его лоб? Опытный глаз узнает: продавец тканей – мусульманин-шиит, поэтому не раз он ударял себя по лбу лезвием кинжала в знак скорби по внуку пророка Мухаммада – имаму Хусейну, убитому в VII веке. Мне уже не раз доводилось видеть шествия таких скорбящих, слышать их возгласы: «Шах Хусейн! Вайх Хусейн! (Герой Хусейн! Горе, Хусейн!) – долго стояли в ушах.

Разраставшееся любопытство по отношению к разным сторонам восточной жизни вылилось в то, что во время школьных каникул я стал прогуливаться все дальше от центра Шемахи. Брат Иосиф уже не бывал моим спутником: Восток его особо не занимал, в свободные от работы часы он «болел» техникой, задумываясь – «как это устроено, как работа одной частички, пружины, колесика зависит от другой такой же крохотки?» Для глухого хирурга он в будущем починит сложный немецкий слуховой прибор – никто другой в Шемахе не смог это сделать. Этими же золотыми руками Иосиф изготовил ряд музыкальных инструментов. Наконец, папа купил по случаю, за 42 рубля, скрипку Амати. Иосиф был безмерно счастлив – такое определение, пожалуй, даже слишком скромно.

В основе нашего юного неравнодушия к музыке была не только мамина кровь, струившаяся у нас в жилах. Знакомая, некая Анна Васильевна Мирзоева, переезжая в Баку, оставила нам на временное хранение старинный граммофон с «допотопными» пластинками. Так мы впервые услышали «Аиду» и «Кармен», «Графа Люксембурга», далее шли «Пиковая дама» и «Времена года» Чайковского, вальсы Штрауса, «Интродукция и рондо каприччиозо» Сен-Санса. И остро хотелось творить подобное.

Мои путешествия сперва открыли мне географическую природу Шемахи: она расположена значительно выше Баку, на широко простертом спуске от скалистой горы Лютры к узкой извилистой речке Загаловачай. Соответственно город состоит из верхней и нижней частей.

На улицах верхней части стояли здания государственных учреждений, теснились частные лавки. Здесь находились и дома, в которых наша семья последовательно снимала комнаты. Однажды пришлось жить в милицейском участке, дверь нашего жилища приходилась как раз против двери арестантской камеры. Узников ежедневно выпускали в общий двор на прогулку. Двое из них, как говорили, приговоренные к смертной казни, были в кандалах.

Нижняя часть города начиналась от южных ворот городской больницы, где наш отец одно время работал заведующим хозяйством. За воротами открывался вид на неширокую каменистую улицу, стремившуюся вниз. Я осторожно спускался. Вот справа замурованный вход. Это могила некоего почитаемого старца, в Шемахе она не одна. Слово «пир», означающее в персидском языке именно такого старца, азербайджанцы произносят вполголоса, со страхом и преклонением перед памятью обозначенного им святого.

А вот ниже по улице, с левой стороны, вход в широкий пустынный двор, поросший травой. Тут стоят осыпавшиеся стены разрушенной мечети. На месте бывшего пола – бурьян и чертополох, другие сорные травы. Но в углу двора заметно полуподвальное помещение с навязанными на решетку окна поминальными лоскутами – в помещении схоронен еще один святой человек; на могильной плите светится неяркий огонек небольшой керосиновой лампы.

Дальнейшие шаги выводили меня на параллельную улицу, и тут сразу открывался вид на пролежавший далеко внизу караванный путь. На нем прямо перед глазами возвышается Джума – Соборная, то есть Пятничная, мечеть с пересохшим бассейном для омовения, превращенная новыми властями в зернохранилище. Далее по пятницам – в Шемахе это выходной день – кипит жизнью «нижний базар», как выражаются горожане. Теперь часть лавок переехала в верхний город – говорят, что там слабее ощущаются подземные толчки, посещающие Шемаху. Но за бывшими лавками встает еще одно святилище – мечеть Сары Топрак – «Жел-

тая Земля». Она еще втихомолку действует, но кажется, городские власти решили разместить в ней тюрьму.

Узорный минарет оставался позади, я выходил за город. Вот они: один, еще один, за ним еще – древние тутовые (шелковичные) сады, где ягоды – лакомство для людей, листья – для червяка-шелкопряда. Меж садов струится речка шириной пару метров, глубиной полметра. Искусственное разведение шелкопряда являлось в середине века одним из главных занятий местных жителей, шемахинский (талеманский) шелк высоко ценился в Италии.

Идти дальше. В стороне от садов – мусульманское кладбище. Вертикально стоящие и наклонные плиты густо покрыты надписями. Что в этих надписях? Я не знал ни одной арабской буквы. Как эти буквы выются, сплетаются, образуя художественное кружево!.. Однако, мысль важнее красоты. Она творит красоту, а красота лишь отображает мысль.

По мостику – на другой берег речки. От воды круто подымается гора. Узкая тропинка, впадающая в широкую дорогу, выводит меня наверх. Снова кладбище, но здесь кроме обычных могил – склепы, мавзолеи, группы памятников, собранных за высокими стенами без кровли. И вновь надписи, выполненные прекрасным, как музыка, таинственным, как вечность, арабским письмом.

Люди умерли, они молчат. Буквы бессмертны, поэтому они говорили, говорят и будут говорить людям о людях. Арабские буквы поведали нам о Шехерезаде и ее чудесных повествованиях в течение тысячи и одной ночи. Но ведь это – первые струйки, исток великой реки арабской письменности, которую мне предстоит узнать, чтобы точно представить себе истории загадочного народа, создавшего эту письменность.

Справлюсь ли? Можно ли когда-нибудь овладеть всеми тайнами арабистики? Или хотя бы вплотную приблизиться к этому? Можно ли? В одиночестве, среди усыпальниц старого кладбища спрашиваю себя, тревожусь большим сомнением.

В 1928 году, 18 декабря, умер наш отец. Папу схоронили в пятницу 20 декабря, за четыре дня до его 55-летия. Он был верующим. Ксендза для заупокойной молитвы в Шемахе не нашлось, Иосиф пригласил армянского священника. Потом заказал и поставил на могиле памятник с надписью, которую сам составил.

Прошло некоторое время, и городские власти сняли с единственного русского кладбища все памятники, вывезли их в неизвестное место якобы для постройки какого-то водопровода, между тем как в Шемахе из фонтанных труб днем и ночью бежала хрустальная горная вода. Опустошенное от памятных знаков место упокоения превратили в пастбище для скота, потом отдали переселенцам – азербайджанским крестьянам – под застройку. Новые шемахинцы рыли землю под фундаменты, выбрасывали на поверхность кости и черепа, мальчишки играли черепами в футбол. Безумная жестокость. Или жестокое безумие.

Как стать арабистом?

Путь мой был и простым, и сложным. Дело жизни было выбрано сразу, без колебания и чьих-нибудь советов. Большой семье, оставленной покойным отцом, жилось трудно. С мыслью о том, что все равно буду заниматься арабистикой в свободные часы, я подал заявление в Бакинский техникум нефтяного машиностроения, чтобы скорей получить специальность и заработок. Но жить на три дома было нелегко, и я вернулся в Шемаху. В следующем году пытался поступить в сельскохозяйственный институт, но по формальным мотивам меня не приняли. Все шло к лучшему. Окончив школу, я заявил ома, что поеду в «вуз по арабскому языку», не зная, есть ли такой на свете. Мачеха ворчала: «Добро бы выучиться на инженера, врача, агронома, на худой конец, стать педагогом, а какой прок в мертвых языках?» Но я стоял на своем и, уезжая, сманил на избранную стезю и своего школьного друга, азербайджанца Халила Рагимова. В Баку мы около месяца терпеливо обивали пороги Наркомпроса и наконец 9 сентября 1931 года, вне себя от счастья, выехали по наркоматскому literу учиться в Ленинградский институт живых восточных языков!..

Ленинград встретил нас проливным дождем. В институте, который мы нашли с трудом, нас недоуменно оглядели: «Мальчики, здесь комвуз...» Халил был так подавлен, что сразу вернулся в Азербайджан и поступил в педагогический институт, окончив который вернулся в Шемаху. А я задержался в Москве с надеждой поступить в тогдашний учебный Институт востоковедения. Но прием уже давно закончился.

– На что тебе эти мертвые языки? – удивленно спрашивала меня дальняя родственница, влиятельная и доброжелательная дама, у которой я временно остановился. – Кем ты будешь, окончив институт по языкам? Учителем с мизерным окладом, переводчиком? Что? Научная работа? Дорогой мой, это допотопно. Сейчас не то время, сейчас нужны инженеры, их ценят, они хорошо зарабатывают... Хочешь, я тебя устрою в ВЭИ? В МАИ? В МВТУ? Туда попасть трудно, но ты будешь там учиться, я поговорю с кем нужно!

И она повезла меня в Лефортово, в ВЭИ (Всесоюзный электротехнический институт) – мечту многих. Я с ней не спорил из вежливости – все-таки я жил в ее доме/ Но, когда, сияющая, она вышла из чьего-то кабинета в приемную и объявила, что меня уже зачислили, я не смог изобразить радости на своем лице и второй раз в ВЭИ не поехал.

Неугомонная москвичка возила меня в МАИ и МВТУ, визиты опять были успешными, но я выказал полное равнодушие и к этим прославленным институтам. «Ну, Петя, – в сердцах сказала моя покровительница своему брату, – займись теперь ты с ним, сил моих нет!»

Вежливый, с мягкими манерами инженер из наркомата повез меня в Горный институт, и я, подумав, что учебный год уже на полном ходу и не годится мне оставаться «в подвешенном состоянии», стал там заниматься.

Потянулись унылые дни. Из общежития на Никольской улице, здания, где двумя веками ранее в греко-латино-славянской семинарии начинал свой великий путь Ломоносов, я морозными серыми утрами ездил на Большую Калужскую, входил в новый корпус и до вечера выслушивал чинную череду лекций. В памяти и сейчас еще звучит рык математика Израиля Григорьевича Кабачника: «Втор-рая пр-роизводная игр-рек по икс, диффер-ренциал икс!» Я слышу мягкий голос старого преподавателя теоретической механики Николая Николаевича Путяты, обращенный ко мне: «Приди... Приди, пожалуйста, к доске, возьми эти цветные мелки, начерти вектор...» И я покорно чертил заученные секторы и векторы, а отойдя от доски, сразу их забывал. Вот химик Лбов... Пользуясь его глухотой, мы на уроках безбожно подсказывали друг другу формулы. Потом – час от часу не легче! – ввели курс горного искусства: потянулись речи про штреки и квершлагги, пласты наклонные, пласты крутопадающие, а меня во всем этом интересовало одно – откуда произошли имена пластов: почему этот называется

«Никанор-восток», а тот «Никанор-запад», третий – «Алмазный», а четвертый зовется совсем непонятно – «Бераль»? Уголь-то везде одинаков! Кто и почему дал эти имена? Никто не мог мне ответить, да я и не настаивал. Мысли были заняты другим.

«Что же, может быть, и нет еще у нас востоковедных вузов? У кого ни спроси, никто не знает о них, и в газетах никогда не бывает объявлений о приеме на восточные факультеты... Зато технических институтов много... Может быть, так и нужно или время такое? «Техника в период реконструкции решает все». Но что же мне делать?.. А вот что: учиться в техническом вузе, учиться как следует, скорее окончить, получить назначение на работу, а потом, приглядевшись, начать по вечерам изучать арабский язык... По вечерам... В свободное время...

Интересно, а много ли свободного времени и здоровых нервов оставит мне должность горного инженера по технике безопасности?»

Примечательно и следующее мое приключение...

Выросшему в глухом захолустье, мне с детства хотелось увидеть вождей нашей страны, которых я представлял себе только по их портретам. Оказавшись в Москве, я 1 мая 1932 года подошел ко входу на Красную площадь у Москворецкого моста и протянул проверяющему единственный бывший при мне документ – членский билет профсоюза горняков. Билет был заключен в красивую красную обложку с тиснением. Проверяющий, скользнув глазами по золоченым буквам? сказал: «Проходите». Я стремительно пошел вверх на площадь, доньше помню, как летела из-под моих ног черная с отливом брусчатка. На Красной площади мне указали место на второй гостевой трибуне слева от Мавзолея. Неподвижно глядя перед собой, я старался ничего не пропустить, вобрать в свою память весь этот особый, никогда больше не повторившийся день. Передо мной прошел весь первомайский парад – мерно колыхавшиеся стройные ряды людей в разноцветных фуражках, я доньше помню мелодию сопровождавшего их марша. Прошла демонстрация – тысячи возбужденных лиц, освещенных весенним солнцем, над которыми взлетали многократные возгласы «Ура!» К вечеру все кончилось, площадь стала пустынной и пространной. Разошлись и те, кто сидел рядом со мной. Остался одинокий юноша в стареньком плаще, я, ждавший заключительной части праздника. И вот она пришла: с трибуны Мавзолея спустились люди, стоявшие там, и направились мимо меня к Никольским воротам Кремля. Нас разделяло менее десяти шагов, узнавать лица, помня их по портретам было нетрудно. «Теперь пойдем обедать», – сказал Молотов, обращаясь к спутникам. Бухарин и Коганович шли рядом. Вожди двигались не стройной, но тесной группой и вполголоса переговаривались. Впереди группы, заметно отделившись от нее, шагал Сталин. Знакомая нависшая фуражка, знакомые усы; руки были глубоко засунуты в карманы длинной серой шинели. Низкорослый генеральный секретарь тяжело ступал по брусчатке и молчаливо глядел себе под ноги, отрешенный от почтительно пониженных голосов за его спиной. Процессия свернула к воротам, я направился в свое общежитие. Годом позже вряд ли удалось бы мне попасть на Красную площадь и тем более близко увидеть сильных мира сего, но на пятнадцатом году революции еще сохранялись последние остатки демократичности первых послеоктябрьских лет...

Думаю, думаю. В аудитории зашумели: профорг Ланенков, сидевший впереди меня, достал часы-луковицу и важно проговорил: «Время кончать занятия». В новом корпусе звонок из главного здания не слышен, а преподаватели наши все как один почему-то не имеют часов. Они начинают и кончают лекции по ланенковской луковице, и это, вероятно, прибавляет ему гордости. Ланенков – эмансипированный студент: с преподавателями держится на равной ноге и говорит им «ты». Уложив часы в карман и бросив на ходу лектору «будь здоров», он выходит из аудитории, за ним тянутся другие ребята. Я выхожу во двор, на улицу и продолжаю думать о своем.

«Что же предпринять?»

«Неужели я никогда не стану «освобожденным арабистом», как бывают на заводах «освобожденные секретари», «освобожденные председатели?»»

«Неужели нет выхода?»

Февраль. Закончился «теоретический отрезок» первого курса, наша группа едет на практику. Ночь, день, ночь, день... За окном вагона замаячили высокие терриконы. Донбасс. Ирмино, шахта 4/2 бис, соседняя с «Центральной», которая через три с половиной года стала знаменита стахановским рекордом. Маленький заснеженный шахтерский поселок. Люди угля, стальная рабочая гвардия – забойщики, крепильщики, откатчики, со спокойным умением делающие свое трудное дело; отчаянные коногоны и милые ламповщицы... Первый спуск в шахту... Ух! Клеть пролетела верхний горизонт – 420 метров, а вот наш – 605. В квершлаг с кровли ручьем льет подземная вода. В штреке то и дело плотно прислоняемся к стене: мимо по узкоколейке с грохотом проносятся вагонетки, груженные мутно поблескивающим углем; их мчит лошадь, бедная белая лошадь, которой уже никогда не видеть солнца. Первые дни мы провели на очистных работах, потом нас перевели в забой. Здесь, в толще земли, в шести-стах пяти метрах от ее поверхности, лежа по углу падения пласта, я «рубаю уголек». Тусклая лампочка Дэви заменяет мне весь свет мира. Матовые куски угля, отбиваемые от пласта глухо звонящим обушком, шурша, слетают вниз, к штреку, один за другим, один за другим...

«Что же предпринять? Какой выход?»

«Как стать арабистом?»

Впереди еще целая жизнь. Жизнь, которую надо прожить как можно красивее... Лучше... Достойнее... С полной отдачей сил. Не гожусь я для шахты, как горный инженер не годится для арабистики. Каждому свое. Ищи путь к своему, ищи, думай. Точное решение придет обязательно.

Еще день... Уголь, обушок, лампа Дэви.

Еще день... Лампа Дэви, обушок, уголь.

Еще день... Обушок, лампа Дэви, уголь.

Дни за днями... А практики еще много.

И вдруг – да, это было в конце февраля, – я вздрогнул от неожиданной мысли. Обушок чуть не выпал из рук.

«Марр! Надо написать Марру!»

Как же это я раньше не догадался? Николай Яковлевич Марр, творец яфетической теории, перевернувший традиционные представления о происхождении и развитии языка и мышления, языковед со всемирной славой, он ли не знает, где учат арабскому языку? Его имя, мелькавшее в газетах в связи то с «бакинским курсом» лекций, то с очередным юбилеем, помнилось мне со школьных лет. Как же это я раньше не подумал? А ответит ли Марр какому-то неизвестному юнцу из Горного института? Иные люди, достигнув и не очень высокого положения, заболевают гипертрофированной черствостью. Когда, окончив шемахинскую школу, я пришел в районное учреждение за направлением в вуз и, волнуясь (вдруг откажут!), стал сбивчиво рассказывать инструктору, чему я хочу учиться, он с сожалением оглядел меня и сказал: «Да ты и говорить толком не умеешь, какой из тебя студент! Оставайся уж в Шемахе, найдем тебе работу – что-нибудь переписывать!»

В Баку, когда мы с моим другом Халилом тоже обратились за направлением, высокопоставленный ответственный работник, ни о чем не расспросив, сказал Халилу: «Тебя могу послать! Поедешь в Москву, в Институт народного хозяйства имени Плеханова! А тебе, – он повернулся ко мне, – отказываю! Нужно и здесь кому-то работать!» Мой друг, в знак солидарности со мной, отказался от предложенной вакансии; мы вышли из высокого учреждения с тяжелым сердцем. Юношеская доверчивость к людям сменилась опасением найти неожиданный отказ или оскорбление. Так уж писать ли Марру-то? Да и дойдет ли письмо?

Весной – это был уже 1932 год – вернувшись в Москву, я смог получить в справочной Центрального телеграфа адрес Марра. Тщательно составленное, по-юношески многословное и

горячее послание души ушло в Ленинград. Ответ пришел скоро. Бесценная реликвия пропала в 1938 году вместе с остальными моими вещами, но память бережно хранит ее текст:

Академия наук СССР Институт языка и мышления
г. Ленинград, Университетская наб., 5

Уважаемый тов. Шумовский.

По поручению академика Н. Я. Марра сообщаю, что Вам, прежде всего, необходимо получить образование в одном из языковедных ВУЗов, например в Ленинградском историко-лингвистическом институте (ЛИЛИ), после чего Вы, в зависимости от Ваших успехов, сможете рассчитывать на место в аспирантуре.

Ученый секретарь ИЯМ (проф. Л. Башинджагян)

Наконец-то!

Я написал в Ленинградский историко-лингвистический институт, получил ответ и написал снова: меня интересовали разнообразные подробности, связанные с обучением там. Галина Николаевна Грабовская, заведующая канцелярией, терпеливо отвечала мне.

Дальше все было уже сравнительно просто: ушел из Горного института, 14 июля 1932 года отправил документы в ЛИЛИ; 28 сентября, не получив извещения о приеме, приехал «на авось» в Ленинград. С вокзала прибежал в институт, увидел себя в списке зачисленных. Я пишу эти даты по памяти: разве их можно забыть?

Первый учитель

Сырым темным утром 11 ноября 1932 года я спешил на первый урок арабского языка. Полтора месяцами ранее мне удалось стать студентом заведения с нежным именем ЛИЛИ – Ленинградский историко-лингвистический институт. В октябре я записался на специальность «Новая история арабских стран», ближайшую к интересовавшему меня арабскому средневековью, мидиевистике, а в ноябре к нам был назначен преподаватель языка – доцент Юшманов. Наконец-то, наконец увидим, что за язык у этой загадочной и трудной науки – арабистики...

Мост Строителей, по-старому Биржевой, соединяющий Петроградскую сторону с Васильевским островом, неожиданно оказался разведенным: медлительно скользя по черной воде, Малой Невой шел караван барж. Я бросился к Тучкову мосту, и не могу доньше понять, как не опоздал: обход велик. В аудитории, Первой аудитории, в самом конце длинного узкого коридора, вся наша группа была уже в сборе. Спустя несколько минут старинная дверь быстро открылась: вошел Николай Владимирович Юшманов.

Его внешность разочаровывала: преподаватель арабского языка являлся воображению высоким, худощавым, бронзоволицым, с огненными глазами – так, должно быть, выглядит каждый араб! – а Николай Владимирович имел плотную фигуру среднего роста и пышные рыжие усы на округлом, с мягкими чертами лице. В глазах светился юмор, губы то и дело раздвигала мягкая улыбка. Идеал был разрушен, а вместо этого на уроке с первых минут установилась непринужденная, домашняя обстановка: мы весело следили за тем, как Юшманов писал на доске арабские буквы, сопровождая свои объяснения прибаутками, весело учились узнавать эти буквы в учебнике – тоненькой хрестоматии Оде-Васильевой, весело поправляли друг друга, когда перешли к связному чтению. На душе было легко и радостно, туда проник какой-то еще неяркий, но сильный свет, излучаемый нашим преподавателем; предстоящие трудности перестали казаться неразрешимыми – чувствовалось, что при Николае Владимировиче все это не так страшно, он-то сможет терпеливо и понятно объяснить все это, его безграничное добродушие – отзвук отзывчивой души: если будешь заниматься, он не даст тебе пропасть, все будет хорошо... Хорошо... Хорошо! Только не обольщаться, не обольщаться, чтобы потом не разочароваться. Посмотрим... Посмотрим дальше, что за человек этот доцент Юшманов... Доверие... Как хочется доверять... А не раздавит ли он впоследствии твои мечты стать арабистом, арабистом-мидиевистом? Не обернется ли его общительность, его заразительная веселость жизнелюба равнодушием к тебе, стремлением избавиться от тебя, когда начнешь не успевать, отставать от других? Николай Владимирович, путь студента неровен, вы это должны знать... Каким вы станете, если я начну спотыкаться? Арабский-то язык, кажется, не из легких, ох, совсем не из легких...

Резкий звонок за дверью прерывает мои мысли. Юшманов попрощался и вышел.

– Ну и ну! – говорят у доски, сгрудившись.

– Да, хлебом, ребяташки! Буквы-то, буквы, я почти ничего не запомнил...

– Ну, буквы что, постепенно усвоятся! А вот когда пойдет грамматика... Грамматика, братцы, в каждом языке трудна, а уж здесь... запомни, где что, и как читается, и как пишется, тут целая абракадабра... Лошадиную голову иметь надо...

– Видать, башковит наш доцент, а сам смахивает на булочника...

– Немецкий булочник, ха-ха! Кто-то в упоении декламирует:

И немец-булочник не раз

Уж открывал свой васис дас



Занятия за занятиями...

Мы все больше привыкаем к Николаю Владимировичу. Он совсем не официальный, «застегнутый на все пуговицы», он домашний. С ним легко и просто. Весь он, пронизанный каким-то внутренним сиянием, всегда светлый и жизнерадостный. Скажет шутку и первый смеется так заразительно, что не сдержать улыбки, вызванной подчас не столько самой шуткой, сколько радостью общения с умным и веселым человеком. А сложные законы арабского языка он излагает с такой непринужденностью подлинного мастера, что не раз думаешь: вот искусство! И подступает комок к горлу от гордости за него, за Ленинград, за всю нашу науку.

Человечность Юшманова вдохновляла и обязывала; не приготовить урока было стыдно. Атмосфера доброжелательства, царившая на занятиях, тоже помогала усваивать трудный материал. В середине первого курса мы уже довольно бегло читали несложные фразы в хрестоматии Гиргаса и Розена, по которой училось не одно поколение русских арабистов, делали сносный сырой перевод. Грамматика действительно была трудна, особенно когда начались «породы», своеобразная категория, отсутствующая за пределами семитских языков. В. Каверин в своих «Вечерах на Васильевском острове» дает место студенту-арабисту, испуганно вталкивающему в свою память эти «породы»:

Каталя, катталя, кааталя, акталя... такатталя, такаа-таля... инкаталя, иктаталя... икталля, истакталя...

На тексте постепенно запоминались «породы» и их производные, падежи, залоги, наклонения. Знания росли, но чем больше близилась весенняя сессия, тем более росло мое волнение: вдруг сорвусь на зачете, не запомнив нужной грамматической формы? Чем шире знания, тем их труднее объять. Аллеи Кронверкского парка часто видели меня в эту тревожную весну с печатной «Грамматикой литературного арабского языка», созданной Юшмановым пятью годами ранее. В этом пособии, сразу по выходе ставшем библиографической редкостью, я впервые увидел мощь юшмановского ума: море арабского языка, одного из самых богатых и трудных языков мира, содержимое множества средневековых фолиантов, громадная палитра звуко сочетаний – все это было так переработано в мозгу тридцатилетнего ученого, что для полного изложения материала ему хватило объема небольшой книжки. Но эта книжка – труд математика: схемы, формы, четкие, лаконичные фразы. Ее идея: жизнь языка, его будто бы стихийное иррациональное развитие подчиняются точным и неотвратимым законам.

Экзамены прошли хорошо. Осенью на втором курсе мы перешли к чтению современной арабской прессы. Наша группа к тому времени подтаяла: из пятнадцати человек четыре перешли на специальность с более ясной перспективой.

Трудности языка тоже испытывали нас. Две газеты, «Мать городов» из священной Мекки и «Хадрамаут» с индонезийских берегов, содержали материал столь же обильный, сколь и малопонятный для слабо знакомого с языком и реалиями арабской жизни. Не говоря уже о том, каким камнем преткновения на первых порах являлись для нас европейские слова в передаче арабскими буквами, сам переход от опробованной десятилетиями небольшой хрестоматии со словарем к широким и неизведанным газетным листам создавал психологический барьер, взять который можно было лишь постепенно и при достаточной целеустремленности.

Дорвавшись до того, что так долго искал, я занимался арабским языком испуганно, отрекшись от всего, что могло мешать. Но взял слишком круто, начал терять силы. Пытался возместить упадок энергии волей, не понимая, что это средство скоротечно.

Я подолгу бился над каждым словом своих переводов; после многих часов изнурительного труда удавалось перевести лишь маленькую статью. А хотелось быстрых результатов, и нетерпение росло. Не думалось о том, что корень, чтобы поднять на себе дерево, должен мужать

неторопливо, как и все в природе. Был я молод, горяч, нетерпелив, и от возникших трудностей у меня стали опускаться руки. Я заставлял себя заниматься ежедневно, упрямо штурмуя неподатливые фразы. Но от этого нервного штурма наступила усталость; блеск арабского языка для меня потускнел, в утомленный мозг стало прокрадываться разочарование. Это было страшно. «Но ведь я всегда стремился именно к этой специальности, – думалось мне, – трудности временны, они отступят перед волей, нужно только работать и работать... Но где взять столько сил, где?..» Да, нужно заниматься... И я занимался каждую свободную минуту. Однако мрачный фанатизм не может быть долговременным помощником воли; для ее торжества нужна светлая одухотворенность. И Юшманов мне ее дал. Он незаметно следил за мной и пришел на помощь в самую трудную минуту. Не было никаких расспросов, увещаний, внушений, никаких дополнительных занятий, мое достоинство не было унижено ни словом, ни намеком. Николай Владимирович просто стал внимательно отмечать каждый мой удачный ответ, он по крупице собирал то хорошее, на что я был способен. Если мне вдруг приходилось останавливаться, не зная, как сказать дальше, он находил нужное слово – одно слово! – от которого развертывалась моя дальнейшая мысль. Оказалось, что дела с арабским языком у меня в общем шли хорошо – интерес к нему и упорные занятия давали свои плоды, – но для возникновения уверенности в себе нужно было признание со стороны. Юшманов достойно оценил мои старания, и это наполнило меня верой в свои силы. Теперь каждый урок, на котором я мог показать работу своего ума и получить одобрение найденного пути, превращался для меня в светлый праздник. Чувство роста укрепляло и вдохновляло. Николай Владимирович, конечно, рисковал: постоянные похвалы могут взрастить самовлюбленную посредственность. Но он словно видел тот путь, которым я пришел к арабистике, и сознавал, что самовлюбленность ко мне не привьется, а без умеренной дозы честолюбия нет начинающего ученого.

В группе говорили:

– Юшманов – ну, какой он преподаватель? Никчемный!

– Не умеет заинтересовать предметом! На занятиях такая скучища!

– Нет, братцы, преподаватель он хороший: у него можно всю пользоваться подсказками и шпаргалками, ни в чем не препятствует...

– Еще и сам подсказывает...

– Его доброта – зло; ничему он нас не научил...

– Да, знать-то он знает, а передать не умеет... Действительно, никчемный педагог...

А вот что сказал о Юшманове его учитель Игнатий Юлианович Крачковский, оценивая пройденный им путь:

«Он жил в науке, но преподавателем был для немногих; слишком он был углублен в свои мысли, не оставлявшие его ни на минуту, и, чтобы убедиться в этом, достаточно было увидеть его хоть раз одного на улице. Показательны в этом смысле были и памятные многим доклады, когда он чувствовал себя свободно. Это были те же мысли вслух, какое-то нескрываемое иногда изумление перед тем, как это интересно и неожиданно выходит. Точно фокусник, он при удачном выходе иногда невольно прищелкивал пальцами. И тем не менее при таком внешнем ореоле оригинальности, а временами и чудаковатости, слушатели чувствовали, что перед ними творится настоящее научное дело, что перед ними научный талант, талант в своей области большой и очень своеобразный. А теперь некого нам так слушать, нет того, за ходом мысли которого можно было с таким высоким наслаждением, так плодотворно для каждого наблюдать...»¹

Шпаргалки... Подсказки... Заинтересовать предметом... Юшманов знал, что все это нужно лишь тем, кто внутренне чужд арабистике, кто попал на арабский «цикл», привлеченный мнимой экзотикой Востока, перспективой материальной выгоды или просто не смог посту-

¹ Крачковский И. Ю., Востоковедный путь Н. В. Юшманова // Крачковский И. Ю. Избр. соч. Т. V. – М.; Л., 1958. С. 452

пить на другой факультет. Таким он не мешал пользоваться шпаргалками, считая, что великовозрастный школяр никогда не станет ученым, что тот, кто хочет чему-нибудь научиться, будет рассчитывать не на бумажку, а на собственную голову. Он и не старался заинтересовать этих молодых людей своим предметом, по-видимому, исходя из убеждения, что интерес, чистый и сильный, должен прийти в аудиторию вместе со студентом, а долг преподавателя – направить его в нужное русло, способствовать его мужанию и преобразованию в ступок творческой энергии длительного – на всю жизнь – действия. Когда задавался вопрос, исходивший из собственных раздумий студента над материалом курса, следовал ответ, далеко выходявший за пределы программы; в таких случаях Юшманов разговаривал с розовошеким юнцом тепло и доверительно, как с равным. Советовал прочесть массу книг и высказывал такие замечания, которых доньше нет ни в каких книгах. Ширилось перед восхищенным взором студента море науки, еще подернутое розовым отсветом утренней зари жизни, ум начинал чувствовать свою силу и стремительность.

Да, Юшманов был «преподавателем для немногих».

К концу второго курса из пятнадцати человек в группе осталось шесть. А на исходе третьего, после работы над изучением арабских почерков, работы достаточно трудоемкой и не всегда веселой, Николаю Владимировичу пришлось заниматься с единственным слушателем. Часы этих занятий, не раз превращавшиеся в живую беседу о людях и судьбах арабистики, забываемы. Они связали учителя и ученика на всю жизнь.

Быть может, так было в университетском здании на Неве и сто лет назад, когда арабист Сенковский, кого вся читающая Россия и сам Пушкин знали как блистательного «барона Брамбеуса», тоже нередко читал лекции одному студенту. Было у Юшманова и Сенковского что-то общее, живую нитью связавшее их через мертвую толщу столетия. Что же это? Пожалуй, то, что оба они – арабисты-романтики. Я не боюсь этого необычного сочетания и повторяю его, глядя в глаза тем, от взгляда которых, говоря словами Апухтина, «прокисает молоко».

Сколько востоковедов серьезно считают, что ученому мечта противопоказана, что он должен исходить только от осязаемых фактов! Но наш фактический материал и сейчас еще недостаточен. Вытекает ли отсюда запрет обобщать? Если нет, то можем ли мы отказываться от воображения? Если нет, то нам должна служить и мечта, дающая возможность сперва мысленно, а потом реально прокладывать в науке новые магистрали. Романтизм Сенковского истекает из его души литератора пушкинской плеяды. У Юшманова торжество творческого духа над фактами основывается на осознании всемирной гармонии языка, проявляющейся в многообразных, но всегда восходящих к единой сущности частностях. Это умение видеть за фактами, дальше фактов, способность создавать исчерпывающую умозрительную картину целого в сочетании с математическим лаконизмом изложения частных фактов он постарался передать своему ученику, и пусть не сразу, а много раз пропущенное через собственные раздумья юшмановское наследие впоследствии вошло в золотой фонд моих приобретений в арабистике.

Сенковский и Юшманов... Когда много лет спустя группе сотрудников Института востоковедения предложили написать статьи о виднейших русских арабистах, я выбрал эти два имени – ведь и тот, и другой прожили во мне вторую жизнь, обогатив меня частью своего внутреннего богатства. Я убежден – и опыт подтвердил это, – что без гипотезы нет ученого и что боязнь совершить ошибку должна быть в каждом ученом поправлена смелостью возвышенной мысли.

Если уж говорить о математической лаконичности юшмановского письма и речи, то нужно вспомнить два случая... Однажды мы очень быстро справились с текстом, до конца урока оставалось минут пятнадцать. Юшманов, блестя смеющимися глазами, рассказал притчу о развратном мулле, который, желая иметь каждую ночь свежую девственницу, вознес к аллаху соответствующую молитву в форме арабского двустигия. Проскандировав это двустигие, он обратился ко мне:

- Как перевести?
- «Боже, даруй нам еженощно...»
- Верно. Дальше? Я замялся.
- Ну?
- Николай Владимирович, во втором стихе неприличное слово...
- Ах, это, первое... По-русски оно значит просто-напросто...

И грохнул такое словцо, что я весь заалел. А он спокойно сказал:

– Вы смутились потому, что это слово относится к разряду табуированных. На нем лежит табу – его нельзя произносить в приличном обществе. Но для ученого не может быть никаких табу, иначе его знание будет ущербно. Железное условие перевода – точность, соединенная со скупостью средств. Поэтому слово текста должно передаваться словом перевода – а не двумя, не тремя, не описательно. Идиомы, конечно, не в счет...

Юшманов, как подлинный ученый, любил все живое, острое, пряное, все, что питает и стремится силу ума. Афоризм, сразу западающий в память, хлесткая эпиграмма, меткое сравнение, соленое, но точное словцо – все находило отзвук в его душе и место в его умозрительной системе человеческой мысли и речи.

Как-то на улице мы купили пирожков. Юшманов надкусил самый румяный и сморщился:

– А пирожки-то...

Закончил фразу крепким словцом и счастливо засмеялся: точнее не скажешь.

Именно поэтому Юшманов не мог ограничиться одним арабским: ему было тесно в этом громадном, но не единственном море, он разрывал его пределы, стремясь к другим просторам, и трудно сказать, какие волны были ему родными. В смысле происхождения, пожалуй, это были волны искусственного языка идо, созданного в начале нашего века де Бофроном на основе творения варшавского врача Заменгофа – языка эсперанто. Увлечение последним, на грани 20-х и 30-х годов очень широкое, захватило и меня, школьника; в маленькой Шемахе райкомовец Добрыднев, с гордостью показывавший свое имя в международном списке эсперантистов, ссужал меня литографированными выпусками курса этого языка, издававшимися Союзом эсперантистов Советских Республик. Должно быть, подобный интерес к всемирному средству общения существовал и в гимназические годы Юшманова. Языком идо, усложненным развитием эсперанто, он овладел в пятнадцатилетнем возрасте, причем настолько, что перевел на него пушкинского «Пророка».

В университет на невской набережной Юшманов принес не только семнадцать розовых юношеских лет, но и более сорока статей по лингвистике, опубликованных им на гимназической скамье. К этому времени он понял, что путь к познанию законов всемирного языка должен пролегать через изучение его многообразных живых проявлений. Его интерес устремился к языкам Кавказа, этой лингвистической сокровищнице, изучение которой взрастило вдохновенную мысль Марра; обратился к великому санскриту, одухотворившему жизнь Минаева, Щербатского, Ольденбурга; остановился на семитологии, бережно и плодотворно взлелеянной у нас трудами Коковцова и его строгой школы. Языки Шумера и Аккада, еврейских пророков и финикийских мореплавателей, сирийской науки и арабской культуры предстали перед юношей вечным отзвуком отшумевших исторических битв; жадный ум впитывал картину их последовательной связи и внутреннего развития не отвлеченно, а ища им место в мировом процессе языкотворчества. Раздумья над учебниками, далеко выходившие за черту программы, укрепляли в Юшманове критически созидательную мысль. Когда доклад начинающего студента в научном кружке привел в смятение университетского лектора арабского языка тем, что без труда ответил на давно мучившие его вопросы, проницательный Крачковский одним из первых среди преподавателей понял, что факультет приобрел будущего ученого.

Но пала на Россию война. В 1916 году, с третьего курса, Юшманов был мобилизован. Блистательный ум заиграл новой гранью – молодой семитолог виртуозно разгадывал сложные

военные шифры, и это делало его незаменимым в среде, куда он попал. К своей *alma mater* ему пришлось вернуться спустя долгие семь лет, исполненные тоской по науке, семь невозвратимых лет... Он вышел из университета таким же полным жажды и пронизанным целеустремленностью, каким вступил в него десятилетие назад. Море ширилось, переходя в океан, таящий другие моря.

В 1928 году Юшманов издал свою арабскую грамматику, переработав в ее двести страниц многотомные своды восточной и западной науки. С титульного листа бережно переплетенного экземпляра на меня смотрит каллиграфическая надпись: «Дорогому Павлу Константиновичу Коковцову, от ученика-автора. Гатчина... июля 1928 года» – переживший и ученика, и учителя отблеск первой и ничем не смятой любви. Тогда же Юшманов переписывался на мальтийском языке с учеными средиземноморского острова. Тогда же его избрали членом научного совета Центрального комитета нового алфавита. Сухие прозаические слова, но задержите на них мысль еще на мгновение – и откроется поэзия, великая поэма приобщения бесписьменных народов к мировой культуре через научно выработанные азбуки, золотые ключи к Пушкину, Шекспиру и Данте... Юшманов был одним из главных и самых увлеченных деятелей этого движения, и, может быть, именно здесь наиболее ярко выявилось, что его талант служил высшим интересам общества.

Если язык идо стоял у колыбели этого ученого, то трудно сказать, стихия какого живого языка стала ему родной в годы мужания. В Институте живых восточных языков и на историческом отделении нашего ЛИЛИИ он преподавал арабский; когда с 1933 года у нас на лингвистическом отделении открылась кафедра семито-хамитских языков, Юшманов (впервые в России) стал вести там занятия по двум африканским языкам – хауса и амхарскому; позже он читал курсы «Введение в семитское языкознание» и «Сравнительная грамматика семитских языков», требовавшие от лектора абсолютного знания языков этой семьи. Я видел, как он же определял тексты, написанные по-литовски или по-венгерски. Большие языки Запада были ему известны давно. Этот феноменальный кругозор, приближавший его к Марру, а может быть, и ставивший наравне с ним, позволял ему мыслить крупно и поэтому глубоко. Видеть это можно даже на таком частном примере, как вошедшее в историю науки исследование открытого на моих глазах среднеазиатского диалекта арабского языка.

Осенью 1935 года я по совету Юшманова перешел на «арабский цикл» при кафедре семито-хамитских языков и литератур, где арабистика была представлена всесторонне: Крачковский читал здесь общий курс арабской литературы, вел семинары по изучению Корана и литературоведению; сам Юшманов вел общую семитологию; В. И. Беляев преподавал классический арабский язык, К. В. Оде-Васильева – современный; А. Ю. Якубовский читал историю халифата, В. А. Крачковская – мусульманское искусство. Для серьезной работы по всем этим линиям моя прежняя практика факультативных приходов на лекции с другого отделения не годилась, это было ясно и Юшманову, и мне. Став «законным» студентом при семитологической кафедре, я смог сосредоточить все свои силы в нужном направлении. С этой поры в моей арабистической жизни эпоха Юшманова начинает сменяться эпохой Крачковского.

Школа Крачковского

В беседах со мной Юшманов не раз упоминал имя Крачковского. Академик-арабист, филолог, автор множества работ, неутомимый исследователь и тонкий знаток средневекового Востока, Игнатий Юлианович был, по словам моего учителя, тем человеком, школу которого должен пройти каждый дерзающий стать арабистом. «Это высший авторитет в нашей области, – добавлял Николай Владимирович, – а ведь еще не стар и, к счастью, живет в Ленинграде».

Слово «академик» наполняло меня смущением и трепетом. Воображению представлялся всезнающий и почти бесплотный жрец, полубог, который вряд ли снизошел бы до разговора с простым студентом-провинциалом, едва осилившим арабские буквы. Однако дерзостное желание учиться у первого арабиста страны, перенять хотя бы частицу его знаний и опыта, вспыхнувшее и росшее с каждым днем, родило во мне мечту познакомиться с ним. Но как это сделать и с чего начать разговор, чтобы привлечь внимание этого, вероятно, уже пресыщенного всеобщим преклонением человека? Что есть у меня за душой, чтобы, говоря с ним о предмете, известном ему вдоль и поперек, я мог тронуть его сердце, отметить в нем хотя бы неясной тенью? Шутка сказать, мировой ученый – и студент, гигант – и карлик... Но ведь нужно же, нужно, школы Юшманова уже начинает не хватать: он – языковед, грамматист, а меня все больше интересуют поэзия, география, история, то есть в конечном счете именно история, ведь все другое вызвано ею, развито ею, отмечено ее печатью...

Случай для знакомства вскоре представился. Подрабатывая в должности библиотекаря на факультете, я однажды увидел, что заведующий книгохранилищем, желая избавиться от «всякого хлама, накопившегося на полках», бросил в мусорную корзину несколько ветхих книжек. Мне показалось, что среди них мелькнул какой-то арабский текст. Когда заведующий вышел, я обнаружил в корзине тетрадку с двадцатью двумя пронумерованными страницами; на каждой в двух столбцах было напечатано по-арабски и по-латыни. Титульный лист гласил: «Арабский Коран», и далее сообщалось имя издателя, место и год издания: Николай Панецкий, Рим, 1592.

Я ахнул и побежал к висевшему у входа в институт старинному телефону, покрутил ручку, назвал номер абонента...

– Слушаю, – прозвучал в трубке свежий молодой голос. – «Наверное, сын», – подумал я и, волнуясь, произнес:

– Можно попросить к телефону академика Крачковского?

– Это я, – ответил голос. – Что вам угодно?

Я растерялся и сбивчиво рассказал о своей находке.

– Ну, что же, это интересно, – сказал Крачковский. – Если можете, приходите ко мне, посмотрим с вами сей уник...

Спокойный теплый тон и приглашение ободрили меня. Минут через десять стремительного хода по набережной я уже был в старом академическом доме на Седьмой линии Васильевского острова, у двери с медной именной дощечкой.

– Пожалуйста, – негромко проговорил Крачковский. Передо мной стоял человек среднего роста с окладистой седеющей бородой, окаймленной пышными усами, с живым внимательным взглядом и мягкой, чуть застенчивой улыбкой. Его свежее лицо, едва тронутое первыми морщинами, светилось таким радушием, что робость моя стала отступать, и я уже довольно непринужденно представился.

– Ах, так вы студент Николая Владимировича! – Глаза Крачковского потеплели. – Что же, очень хорошо, у него есть чему поучиться... Так что вы принесли?

Я подал ему тетрадку, и мы прошли в кабинет. Игнатий Юлианович стал рыться в каких-то справочниках, а я, усаженный на диван, стал несмело осматриваться. Вот это библиотека!

Все четыре стены сверху донизу в книжных полках. Мерцают серо-желтые пятна бумажных обложек, тускло светится позолота букв на корешках томов... Книги, книги... Толстые, тонкие, высокорослые, маленькие, тесно жмущиеся одна к другой книги... Здесь вся арабистика, опыт и мысль поколений. Не ее ли символы – бронзовый всадник в углу, стремящийся в неизвестное, и вечнозеленые листья фикуса поодаль? А посреди комнаты, освещенной двумя окнами, стол – просторный и строгий стол ученого, за которым столько написано и столько еще будет создано, стол...

– Ну вот, все правильно, – сказал Крачковский, отходя от полки, у которой он перелистывал какой-то старый том. – Да, этот Николай Панецкий... Вот тут написано, что он задумал издать весь Коран в подлиннике с латинским переводом. Но, может быть не без влияния католической церкви, субсидии не получил, а своих денег не хватило... Ему и пришлось напечатать всего двадцать две страницы, эта цифра здесь указана, а потом прекратить издание. Так что дальнейшего текста и не было, но хорошо, что сохранилось то, что вы принесли, любопытная находка через три с половиной века...

Потом он подробно расспрашивал меня о моих занятиях, а на прощание подарил экземпляр своей книжки «Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского университета».

Это было 29 марта 1934 года. Спустя много лет я прочитал:

«Моя книжка о Тантави вышла в начале 1930 года. Не всем она почему-то понравилась, но меня утешило то, что арабисты и арабы, а особенно земляки шейха, ее оценили и нашли для нее теплое слово. Я много пережил, пока работал над нею. До сих пор, когда меня спрашивают, какие из своих работ я считаю достойными памяти в науке, я всегда называю только четыре книги: о дамаском веселом поэте, что был зазывалой на фруктовом рынке, об изящной сатире мудрого слепца, поэта-философа из Сирии, о теории поэтического слова, которую создал эмир, поэт и тонкий филолог, что на свое несчастье пробыл один день багдадским халифом, и последнюю – о египетском шейхе, профессоре в Петербурге. Но иногда мне кажется, что больше всех я почему-то люблю именно последнюю, и часто я открываю ее, чтобы посмотреть на портрет того, о ком идет в ней речь».

Любимое детище Крачковского и сейчас стоит на моей книжной полке, и я по временам тихо перелистываю ее страницы, вспоминая невозвратный и незабываемый мартовский день.

Лекции Крачковского были для меня отличны от остальных. Дело не в предмете – литература не интереснее других областей знания, и курс ее не может оставить неизгладимое впечатление, если цитируемые стихи переводятся прозой и на всем лежит налет экзотичности. Дело было в манере чтения. Крачковский читал ровным, спокойным голосом, неторопливо и уверенно, лишь изредка взглядывая в разложенные перед ним бумажки. Казалось, сама история, перекипевшая и стихшая с веками, остудившая свои страсти раздумьем зрелых лет, с улыбкой оглядевшая и оценившая их с позднего порога жизни, вложила эти хладнокровие и трезвую рассудительность в уста ученого...

«Вот идеал! – думал я. – Да, исследователь должен быть невозмутим, лишь тогда каждое слово его снизойдет откровением». Лишь много лет спустя я понял, что заблуждался. Ученый – нет, он не бесстрастный летописец, он трибун. История не умирает, она переливается из формы в форму; ученый – не свидетель, а живой участник ее, творящий умы ее творцов. Как же можно творить не страдая, вновь и вновь не переживая того, о чем говоришь, не чувствуя каждым нервом пульс истории прошлой и современной?! Не бесстрастность, а пламень, не покой, а опустошенность, ибо все передал другим...

В 1935 году, окончив третий курс исторического факультета, я перешел на «арабский цикл» при семито-хамитской кафедре и таким образом оказался на третьем курсе филологического факультета. Кое-что из-за разницы в программах мне пришлось основательно подготавливать, но к концу курса я выправился. Не сказать, чтобы это было легко, но постоянное доброжелательное внимание преподавателей, всегда готовых прийти на помощь и уже ждавших от

тебя помощи другим, настораживавшихся при трудностях, каких немало у студента, и радовавшихся каждому его успеху, вдохновляло и стремилло вперед.

Новый курс лекций Игнатия Юлиановича – «Арабская историческая и географическая литература» – потребовал большой самостоятельной работы; но именно в этом первом, трудном году на другом факультете я, по просьбе заведующего нашей кафедрой ассириолога Александра Павловича Рифтина, продолжил «в расширенном варианте», то есть при большем количестве участников, свои прошлогодние дополнительные занятия со студентами, отстававшими по арабскому языку. В этот же период начались мои посещения заседаний ленинградской Ассоциации арабистов. Впервые порог Института востоковедения Академии наук, где она собиралась, я переступил 23 марта 1935 года, когда слушался доклад Д. В. Семенова «Взгляды французских ученых на современное положение арабского языка и его будущее».

Ассоциация арабистов, просуществовавшая всего четыре года, с 1934 по 1938, была полезной научной организацией, где исследователи общались и, учась друг у друга, совершенствовали свое мастерство. Доклады по разным отраслям арабистики, вызывавшие оживленные споры, расширяли кругозор и создавали активную творческую атмосферу. Стараясь не пропустить ни одного заседания, – они происходили 11-го и 23-го числа каждого месяца, – притихший, я сидел за длинным черным столом рядом с именитыми учеными, жадно вслушиваясь в слова докладов, стараясь определить свою позицию в диспутах. Вот что было трудно! Слушаешь одного – он говорит так веско, так убедительно, что уже готов с ним согласиться. Слушаешь его противника, выкладывающего свои знания и логику, – и думаешь: «Так ведь он прав, я бы сказал то же». Конечно, с университетским ли неполным багажом формировать научное суждение? Нужно было много, очень много читать сверх программы, и я стал читать все, что мог найти в библиотеке, где работал.

В 1936 году я впервые выступил в заседании Ассоциации. Трудно следить за своими мыслями, когда к тебе обращены лица мастеров науки, когда десяток зрелых умов взыскательно сверяет твои слова с истиной. Но и здесь, как и на кафедре, помогло строгое, но теплое доброжелательство старших. Смущение отступало, когда я видел, с каким вниманием слушает меня сам Крачковский, как ободряюще улыбается мне лингвист Семенов, как, напряженно глядя в мое лицо, задумывается историк Ковалевский... Конечно, много было в моих словах незрелого, претенциозного, они это видели и делали на это скидку, но ведь главное, что уже начали складываться самостоятельные суждения, значит, есть что совершенствовать...

Крачковский был душой, *spiritus movens*² Ассоциации арабистов. Ее председатель, он был в то же время самым деятельным и авторитетным из ее членов. Его доклады, насыщенные громадной эрудицией, открывавшие новые горизонты в, казалось бы, давно и хорошо изученных областях, его блистательные переводы ново-арабской прозы аудитория, состоявшая не только из его зрелых и молодых учеников, но и из представителей других востоковедных специальностей, слушала, боясь проронить слово. Ему принадлежали регулярные ежемесячные библиографические обзоры – ведь он, связанный со многими учеными и писателями Запада и Востока личным знакомством, получал такие издания, которые не всегда имелись в библиотеках, и, кроме того, пристально следил за всей арабистической литературой, и я удивлялся, как он успевает прочитать такую уйму разноязычных книг, готовить одно за другим обстоятельные сообщения и быть в состоянии ответить на любой вопрос по чужой работе.

Да, это был подлинный академик, первый среди равных, занявший место руководителя научного коллектива благодаря наибольшим знаниям, наибольшему опыту, наибольшей научной активности и наибольшему такту. К этому нужно добавить, что Игнатий Юлианович был необыкновенно точен: скрупулезно выполнял свои обещания и берег время. Помню, я как-то получил извещение о заседании Ассоциации, назначенном на семь часов вечера, но смог

² Движущий дух (лат.).

прийти в Институт востоковедения лишь в десять минут восьмого; меня утешала мысль, что наши факультетские собрания всегда начинаются с получасовым опозданием. Против ожидания, коридор, где обычно толпились «ассоцианты» перед началом заседания, был пуст, а у плотно прикрытой двери в зал сидел со строгим, непроницаемым лицом старый служитель Брядов.

– Что вам будет угодно? – спросил он, оглядев меня с головы до ног. Я смешался.

– Тут... заседание должно было быть... Ассоциация арабистов...

– Так ведь заседание уже идет, – сказал Брядов и посмотрел на стенные часы. – Вон уже осьмой час, а Игнатий Юлианович всегда приходят без пяти семь, а в семь все уж на местах и все начинается...

Красный от смущения, я неслышно приоткрыл дверь в зал, на цыпочках прошел к месту за столом и потом уж никогда не опаздывал.



Моей первой самостоятельной работой было выполненное на третьем курсе небольшое исследование с громким названием «Арабская картография в ее происхождении и развитии». Непосредственным поводом для раздумий в этой области явилось то, что я случайно наткнулся на литографированное издание лейденской рукописи сочинения по всемирной географии, написанного в X веке путешественником Истахри. Цветные карты, представлявшие набор геометрических линий и фигур, сразу стали манить мысль. Почему столь странно изображали географы эпохи расцвета мусульманской державы тогдашний мир, как отразились на картах их знания, полученные в странствиях, воспринятые от заезжих купцов и ученых? Своими первыми предположениями я поделился с преподавателем классического арабского языка В. И. Беляевым, который, как я слышал, сам интересовался географической литературой. Виктор Иванович неопределенно хмыкнул, потом сказал, что тема это большая и не моими силами ее поднять.

– Попытайся, конечно, можно – добавил он, снисходительно усмехнувшись, – пробуйте.

Крачковский, когда я поведал ему о своем опусе, пристально взглянул на меня и произнес:

– Ну что ж, это труд полезный. Только сходите в Публичную библиотеку, там есть «*Monumenta cartographica Africae et Aegyptiae*»³ Юсуфа Кемалы... Вы еще не видели этого издания? Оно каирское, обязательно посмотрите его для своей работы... Потом приходите к нам, в Институт востоковедения: там нужно познакомиться со всеми выпусками «*Mappae Arabicae*»⁴. Это Конрад Миллер, Штутгарт, 1926 год... Дело вам предстоит трудоемкое, но тема этого стоит... Вера в мои силы, сквозившая в этих спокойных и строгих словах, окрылила меня. Сколько дней после этого, урывая каждый свободный час, я просидел над атласами арабских карт, сколько новых мыслей они родили! Так появился доклад, прочитанный в студенческом кружке при кафедре, потом я переработал его в статью. С рекомендацией Крачковского она была принята к печати Географическим обществом.

Читая работы Игнатия Юлиановича, написанные безукоризненным, чуть романтическим стилем, любясь тонкой обработкой в них филологических деталей, я чувствовал, что мне все больше претит неряшливость, которая нередко бросалась в глаза при знакомстве с иными публикациями: давнее, с детства росшее ощущение, подсознательное до времени, становилось четким. Так возникли два следующих моих этюда: «О карте арабских торговых путей в БСЭ», где были даны поправки к транскрипции географических названий, и «К вопросу об иденти-

³ «Картографические памятники Африки и Египта» (лат.).

⁴ «Арабские карты» (лат.).

фикации двух мусульманских карт в русском переводе «Сафар-намэ» Насира-и Хусрау» – в этом случае речь шла о более серьезных ошибках, допущенных известным ученым; занятия арабской картографией помогли мне увидеть то, мимо чего прошел этот крупный специалист в другой области, и я счел своим долгом публично восстановить истину. Обе статьи, опять с отзывами Крачковского, заняли свое место в редакционном портфеле Института востоковедения. Счастливый, я уже думал о будущих темах, еще не видя большой, единственной, той, которая может наполнить своим светом всю жизнь человека в науке.

Осенью 1936 года Крачковский спросил меня:

– Вы бы не хотели в свободное время писать библиотечные карточки на арабские книги нашего института? И библиотеке, и вам была бы от этого польза... – Помолчал, потом добавил: – Вы-то готовите себя в исследователи, и вам, поди, будет по молодости лет скучновата техническая работа. Но для исследовательской деятельности нужно, не в последнюю очередь, уметь разобраться и в книге, и в рукописи, я и сам когда-то отдал этому немало времени. А в последние годы столько дел набежало, что не всегда доходят руки до карточек, а писать их надо, и я занимался бы этим с удовольствием...

Так я впервые пришел в Арабский кабинет Института востоковедения Академии наук – высший центр страны в области моей специальности. Кабинет помещался в небольшой комнате на последнем этаже академической библиотеки; за широким окном виднелась пустынная площадь, упиравшаяся в задний фасад университета, и бежала к Неве серая лента Менделеевской линии – булыжник, окаймленный старинными тротуарчиками из квадратных потрескавшихся каменных плит. Вдоль стен кабинетского помещения стояли потемневшие от времени шкафы, хранившие арабистическую литературу: тома «Энциклопедии ислама», европейские издания арабских средневековых текстов по истории, географии, точным наукам и даже музыке; были тут и стихотворные сборники, и труды о Коране, и словари, словари, словари: арабские толковые – массивные с мелкой печатью, европейско-арабские, специальные, дополнительные, компактные, многотомные...

«Возможно ли все это узнать одному человеку?» – думал я, с благоговейным трепетом вглядываясь в корешки книг, испещренные разноязычными названиями. Тем большее преклонение вызывали во мне сотрудники кабинета, ежедневно общавшиеся с окружавшими их книжными сокровищами: художавый, серьезный Андрей Петрович Ковалевский, изучавший рукопись, где автор X века Ибн Фадлан рассказывал о своем путешествии из Багдада на Волгу; Даниил Владимирович Семенов с полным добродушным лицом под гладкой седой прической, писавший работу об арабском синтаксисе; Яков Соломонович Виленчик, узколицый, с пытливыми не улыбающимися глазами за стеклами сильных очков, трудившийся над своим громадным словарем народного языка Сирии и Палестины. Три кандидата наук, уже работавшие над докторскими темами, они были немногословны, внутренне сосредоточены, целеустремленны; нередко засиживались за работой до позднего вечера – мягкий свет зеленых абажуров и сейчас стоит в моей памяти...

Вечерние часы, тихие и вдохновенные... После суетливого институтского дня они были часами, когда, оставаясь наедине с книгами, рукописями и мыслями, человек более всего чувствовал себя ученым и многое сложное становилось ясным и простым. Ко мне все три арабиста сразу отнеслись сердечно и без высокомерия, и я сердцем почувствовал, что нашел в них старших друзей. Семенов, руководивший работой по описанию арабского книжного фонда, терпеливо знакомил меня с мельчайшими, малозаметными деталями, важными для истории книги, и никогда не выговаривал мне за ошибки, а, добродушно улыбаясь, исправлял их вместе со мной. С Ковалевским мы ходили обедать в ближайшую столовую, и от него я узнал многое из области и научного, и житейского. Виленчик доверительно рассказывал мне о своем не оконченном еще словаре, развивал передо мной гипотезы, делился новыми и новыми замыслами.

Мне было хорошо в этом обществе людей, любивших науку без признаний в любви, но больше своей жизни; собственно, жизнь и наука у них были неразделимы, а раз так, то первая, естественно, принадлежала второй. Впервые тогда мне ясно представилось, какая завидная участь может меня ждать... «Нет, путь не долог, – думал я безмятежно в часы радостей, – остался еще один университетский курс, потом аспирантура, защиту диссертацию и...» Ах, юность! Путь оказался долгим и тяжким, и далеко ли я ушел по нему, даже дойдя до высшей ученой степени?..

Бок о бок с большим черным столом, по сторонам которого работали Ковалевский, Семенов и я, стоял стол Крачковского. Игнатий Юлианович приходил по вторникам и пятницам и занимался рядом с нами весь день. К нему можно было в любой час обратиться с любым вопросом; он поднимал от книг усталые, просветленные глаза и отвечал неторопливо и обстоятельно. Его работа ученого проходила на глазах у его учеников, и понемногу, одним раньше, другим потом, передавались от него те черты, которые должен растить в себе исследователь: проницательность и осторожность, разносторонность и собранность, порыв и тщательность, строгость и отзывчивость, дисциплина труда и самоотверженность.

Крачковский был живым идеалом, которому каждый арабист стремился подражать, в котором каждый мечтал увидеть будущего себя. На этом покоилось всеобщее уважение к нему, настолько искреннее, что даже за глаза никто никогда не отзывался о нем плохо. И все-таки иные не любили его, а лишь заискивали перед ним. И все-таки сам предмет поклонения не был свободен от недостатков. Но и через много лет, когда зрелый ум увидел несовершенства этой натуры, сердце не смогло изменить светлому чувству, рожденному годами радостного общения с чистым и мудрым человеком.

10 октября 1936 года на стол ученого секретаря Муратова легло письмо:

«В Институт востоковедения Академии наук. Кафедра семито-хамитских языков и литератур просит разрешить студенту IV курса Арабского цикла т. Шумовскому проходить производственную практику под руководством академика И. Ю. Крачковского в Вашей библиотеке».

Так через два года после начала индивидуальных занятий у Юшманова я стал учеником главы советской арабистики.

Основным предметом моей производственной практики было ознакомление с техникой исследования арабских рукописей. Игнатий Юлианович предложил эту тему, исходя из того простого факта, что каждый арабист, о чем бы он ни писал, должен уметь прежде всего видеть рукопись – тот главный и почти единственный документ, который оставила после себя давно отошедшая историческая эпоха, служащая предметом исследования по общей либо какой-нибудь из частных линий. Рукопись для ученого – всегда живой памятник истории. Глаз исследователя, прежде чем вникнуть в содержание рукописи, отмечает малозаметные детали. Вот крохотная приписка на полях – это знак поздних раздумий автора над своим текстом, а может быть, – это выяснится позже – претенциозное замечание малоискушенного переписчика, либо цитата из другого сочинения, приведенная в подтверждение или опровержение определенного места книги каким-то из ее сменявшихся владельцев, либо... Все разгадки еще впереди. Вот аккуратная каллиграфическая приписка, начинающаяся словами:

«Как сказал, да славится он и превознесется...», – это соответствующий данной мысли автора стих из Корана, то, с чем никто не смеет спорить. А вот заметка под титлом *р. д. х.* – эти буквы расшифровываются как фраза «Радья ллаху анху!» – «Да будет доволен им Аллах!», которая ставится после имени первого имама (предстоятеля) одной из крупнейших мусульманских сект – шиитов – Али ибн Абу Талиба; появление в рукописи высказывания этого человека наводит на предположение, что она создана в шиитских кругах, то есть, весьма вероятно, в иранской среде, и это сразу бросает особый свет и на характер сочинения, и на историю рукописи.

Арабист-медиевист вчитывается в полустертые, иногда тщательно зачеркнутые надписи, в затейливую вязь именных печатей владельцев книги, разглядывает бумагу, на которой написан текст сочинения, присматривается к манере письма, очертаниям отдельных букв. Ничто не ускользает от его взгляда, и постепенно, превратившись в своеобразного Шерлока Холмса, он может определить и дату возникновения памятника, отделенную от него рядом столетий, и место переписки, и другие обстоятельства, связанные с историей документа. Так он входит в мир изучаемого произведения, а это позволяет ему проникнуть в содержание памятника, вскрыть его предысторию, распознать его внутренний механизм и благодаря всему этому обогатить ум человечества знанием неизвестных прежде черт истории арабского общества. А лишь совершенное знание прошлого позволяет объективно оценить настоящее и безошибочно строить нужное будущее.

Крачковский учил меня видеть за рукописью мир породивших ее страстей.

Несколько позже, в тяжкие годы войны, оторванный от любимых рукописей и книг, этот большой мастер, склоняясь над книгой воспоминаний о своем сорокалетнем пути в науке, скажет об искусстве арабиста проникновенные, глубоко поэтические слова: «Работа над рукописями несет свои радости и свои горести, как все в жизни. Рукописи ревнивы: они хотят владеть вниманием человека целиком и только тогда показывают свои тайны, открывают душу – и свою, и тех людей, что были с ними связаны. Для случайного зрителя они останутся немые: как лепестки мимозы от неосторожного прикосновения, закроются их страницы, и ничего не скажут они скучающему взору...»

Коран, сборники стихотворений крупнейших поэтов первых столетий ислама, сочинения по всемирной географии, математические трактаты – сколько произведений арабской мысли прошло передо мною в разноликих рукописных томах, которые приносил на занятия мой учитель!

Но судьба моя была заключена в скромном неприметном томике, который Игнатий Юлианович положил передо мной на последнем уроке, в мае 1937 года.

– Это, как вы видите, сборная рукопись, – сказал он, когда я начал впервые самостоятельно просматривать пожелтевшие страницы. – Разные сочинения разных авторов, даже на разных языках. Вам, конечно, не надо определять каждое произведение. Выберите одно, попробуйте в нем разобраться, потом расскажете о своих наблюдениях. Пусть это будет вам испытанием, посмотрим, насколько вы преуспели...

Так мне довелось наткнуться на три руководства для плаванья в разных частях Индийского океана, составленные в стихах неким Ахмадом ибн Маджидом и сохранившиеся в единственном на весь мир экземпляре, который более ста лет назад вошел в состав ленинградского академического фонда арабских рукописей.

Ахмад ибн Маджид... Кто он такой? С чего начинать исследование?

Внешние данные ясны: лощеные листы бумаги со специфическим запахом долгого неприметного тления говорят о том, что рукопись была создана давно и длительное время лежала неподвижно, не обращая на себя ничьего внимания. Случайная дата, запрятанная в недрах текста, или сопоставление нескольких дат, – конечно, если они есть – позволяют хотя бы приблизительно уточнить время написания документа; но для этого надо проработать содержание. Почерк не каллиграфичен; это значит, что переписчик думал не столько о форме, сколько о смысле текста; не следует ли отсюда, что он был близок к морским кругам, в которых родились руководства Ахмада ибн Маджида? Это предположение подтверждается и неравным количеством строк на страницах – от 22 до 481.

А полустишия отделяются друг от друга то простым пробелом, то черными завитками, а то и красными... Нет, не внешняя красота и не холодная симметрия прельщали переписчика. А эти приписки, лепящиеся по краю некоторых страниц то наискось, то боком, то вверх ногами? Они выполнены тем же почерком, что и основной текст, следовательно, принадлежат

переписчику. Но так как по смыслу они идут за последней строкой страницы, то это не замечания к написанному, а его составная часть. Значит, переписчик сэкономил бумагу? Почему? Он был беден, а снимал копию для себя? Стало быть, его интересовали не деньги, которые он мог бы заработать, переписывая чужое сочинение... его интересовало само произведение... Это сразу характеризует и переписчика, и автора, и... и, быть может, в этом обстоятельстве надо искать нить для определения места переписки? Вероятно, там бумага была дорога, значит, ее привозили... привозили издалека...

Мысли сменяются мыслями. И уже отступили все другие заботы, обострившийся взор вглядывается в каждое пятнышко, и ум делает самые смелые предположения. Не все они выдержат испытание временем, но с них начинается ученый. Опаляемый растущим интересом к предмету исследования, он спешит проверить их в процессе разбора содержания рукописи, которое начинает манить его с того мгновения, когда он впервые склонился над старыми листами или даже когда только что услышал о них.

Содержание... Это три – мне уже удалось их разделить – три руководства для лоцманов Индийского океана. Одно, самое большое, описывает морские пути у восточного побережья Африки; второе, поменьше, посвящено «подветренным странам», расположенным к востоку от индийского мыса Коморин; здесь речь идет о плавании в Бенгальском заливе и у берегов Индонезии; третья лоция, самая короткая, говорит о маршруте от Джидды до Адена.

И тут я вспоминаю... Да, да, это было всего два месяца назад, 15 марта, в конференц-зале на Демидовом... Игнатий Юлианович выступал в годичном собрании Географического общества с лекцией «Арабские географы и путешественники» и уже под конец, вскользь, упомянул эти три лоции, эту уникальную рукопись... Даже проецировался снимок первой страницы... Но обо всем этом было сказано так бегло, что я ничего не запомнил, только звучат в ушах слова: «Первая лоция описывает...», «Вторая лоция описывает...», «Третья лоция...» И... да, назывался парижский ученый, обнаруживший в нашем веке забытое произведение Ахмада ибн Маджида, но ничего не знавший о ленинградской рукописи, ученый, раскрывший загадку личности автора, ученый... Как его фамилия? Промелькнула мимо памяти, как многое в жизни, а нужно бы узнать, не спрашивая Игнатия Юлиановича, теперь уже интересно выяснить самому, пусть он удивится, когда я с непроницаемым лицом, как давно знакомое, назову это имя, а потом и труды...

Я полез в «Энциклопедию ислама», боясь ничего не увидеть там для себя, и, к своей радости, нашел большую статью об Ахмаде ибн Маджиде. Подпись под ней сразу напомнила мне имя французского исследователя: Габриэль Ферран. Дипломат, проживший много лет в странах Индийского океана, ученик знаменитого африканиста Рене Бассе, он был незаурядным ориенталистом широкого профиля, посвятившим свою жизнь изучению географической культуры народов и Ближнего, и Среднего, и Дальнего Востока. В 1912 году он, как часто бывает в науке, случайно наткнулся в парижской Национальной библиотеке на две арабские рукописи с мореходными сочинениями Ахмада ибн Маджида и другого лоцмана, Сулаймана из южноарабской области Махра. Увлеченный личностью первого, оставившего двадцать два произведения, тогда как на долю второго приходилось только пять, Ферран, сопоставляя арабские, турецкие и португальские источники, неожиданно установил, что Ахмад ибн Маджид и был тем загадочным *Malemo Cana*⁵ лиссабонских хроник, который в 1498 году провел флотилию Васко да Гамы от Малинди в Восточной Африке до Каликута на Малабарском побережье Индии. Яркий образ восточного мореплавателя вдохновил музу Камозэнша:

⁵ *Malemo* произошло от арабского *муаллим* – «наставник» в значении «капитан дальнего плавания», *Cana* или *Canaqua* – тамильская форма санскритского ганика – «звездочет». *Malemo Cana* должно пониматься как нарицательное обозначение «мастер судовождения по звездам».

В кормчем, суда стремящем, нет ни лжеца, ни труса.
Верным путем ведет он в море потомков Луса.
Стало дышаться легче, место нашлось надежде.
Стал безопасным путь наш, полный тревоги прежде.

Счастливая находка поставила фигуру старого арабского морехода в центре последующих изысканий Феррана. Он издал фотографии обеих найденных им рукописей, предполагая в будущем осуществить их перевод и комментирование. Он опубликовал ряд этюдов, в которых попытался восстановить линии связи между забытой миром океанской навигацией арабов и другими явлениями культуры восточных народов. Он увлеченно – святая сверхувлеченность первооткрывателя! – говорил: «С тех пор как нам открылись арабские источники, турецкий морской свод адмирала XVI века Челеби, который так превозносила наука прошлого столетия, потерял всякое значение». Но он не знал нашей рукописи... Лишь незадолго до смерти, получив ее снимок, угасавший ученый по достоинству оценил место ленинградских лоций в наследии Ахмада ибн Маджида и намеревался их издать. Но не успел, как не пришлось ему полностью осуществить и давно задуманное шеститомное издание памятников средневековой арабской навигации...

– Изрядно вы проштудировали сей предмет, – сказал Крачковский, когда я поделился с ним всем, что прочел и передумал. – Видите, как интересны могут быть скучные с виду рукописи! Но помните, даже после того, что сделал Ферран, здесь еще непочатый край работы, ведь все эти морские вопросы представляют в арабистике неисследованное море, и тут может не хватить целой жизни, чтобы сказать новое слово...

Скромный томик в красном кожаном переплете с застежками и тиснением, хранивший три лоции Ахмада ибн Маджида, за немногие дни успел так прочно войти в мою жизнь, что я уже не мог оторваться от его все еще темных для меня страниц. Работы Феррана помогли отождествить ряд неизвестных географических названий, труды по арабской астрономии постепенно позволяли увидеть за причудливыми названиями звезд известные нам светила, собственные раздумья рождали первые выводы о структуре содержания. Осенью 1937 года, вернувшись с каникул, я показал Игнатию Юлиановичу составленное мною предварительное описание рукописи лоций.

Поэт при дворе Ширваншахов

Свои предпоследние студенческие каникулы летом 1936 года я проводил в Шемахе, обители моего детства, колыбели моего увлечения Востоком. Провинциальная жизнь однообразна, особенно для юнца, приехавшего на лето с шумных и великолепных берегов Невы. Удручает отсутствие моря, пляжа, концертов, привычного круга друзей. Пытаешься поддержать свое ровное настроение велосипедными прогулками, щедрыми ласками южного, солнца, усиленным потреблением фруктов и, конечно, книгами, взятыми из местной библиотеки. И каждый день находишь время, чтобы ходить по городу и окрестностям.

Ходить по Шемахе означает для меня прежде всего вспоминать. Первой из первых я вспоминаю свою школу. Вот улица, по которой пришел я к ней в красно-золотое октябрьское утро уже далекого года, в день, когда началось для меня ученье на всю жизнь. Вот окна моего первого класса, окна на уровне тротуара, за которыми и сейчас видны старые черные парты... Вот здесь, во дворе, мы на переменах бегали по фундаменту новой школы, строившейся для нас тогда, когда город еще ничего не строил, а ютился в немногих уцелевших в гражданскую войну домах прошлого века. В этом здании с просторными светлыми классами я получил выпускное свидетельство... Вот почта, а вот библиотека, а тут жила наша семья... Здесь... Здесь... Как звезды, вспыхивают в памяти давно забытые слова и лица.

Вот базар. Минуя кричащие прилавки, заваленные пряной снедью, огибаю невысокие холмы ближнего пригорода, круто пересекая асфальтную ленту шоссе и выхожу к рубежам старой Шемахи. Узкие кривые улицы, мощенные булыжником, уходят вниз. Руины... Руины... Руины... Когда-то здесь были дома и сады, фонтаны и бани, лавки купцов и мечети с высоко взметнувшимися минаретами. Землетрясение в начале нашего века и гражданская война в конце второго десятилетия превратили город в почти сплошную груду развалин. Но жизнь восторжествовала, творящие руки мира понемногу возводили на старой земле новые кварталы. Я помню пестрые многоголосые пятничные базары, как река, растекавшиеся по главной улице древнего города, которая длинной прямой нитью соединяла дорогу на юго-восток с дорогой на юго-запад... Потом жители переселились наверх, ближе к горам, где землетрясения не так опасны, и нижний город вновь пришел в запустение.

Унылый вид осыпавшихся каменных стен с пустыми проемами окон и дверей, бывших комнат, поросших буйной зеленью, одичалых деревьев и давно нехоженных улиц дополняется лесом намогильных памятников сразу за угадываемой городской чертой. Шемаха окружена поясом кладбищ – четыре мусульманских, армянское, русское. На горе за речкой, огибающей южные пригороды, четко высятся семь мавзолеев с низкими стрельчатыми входами; поодаль, к западу, одинокий квадрат дома без крыши; внутри стен чьи-то старые могилы; чахлые деревья устало склонили над ними пыльные ветви, в пустых оконных проемах здания пламенеет шафранное небо заката. Зайдешь на это кладбище – и сразу обступит тебя скорбная поросль стоящих и лежащих каменных плит, испещренных арабским письмом и изображениями предметов, имевших отношение к занятию покойника. Давно распались под морем камня кости, давно истлели глаза и руки искусных каменотесов, давно не читает кружев узорного письма никто, кроме утреннего ветра, полдневного солнца и ночных звезд. Под тяжелой десницей времени незримо склоняются стоящие и вырастают в землю лежащие плиты. Время и тишина – два царя властвуют здесь.

На другой горе, обрывающейся у юго-восточной дороги, тоже кладбище: узорные камни лежат в пещере и вверху, высоко над дорогой, там, где густо пахнет пряными дикими цветами, они то взбираются на кручу, белеющую скалистыми отломами, то спускаются глубоко в лог, к пастбищам на берегу горного ручья. И ближе, на городской стороне, опять кладбище, и на северной окраине, у входа в тесное ущелье, по дну которого вьется звонкоголосая серебряная

струя, тоже угрюмо теснятся, жмутся один к другому серые памятники с заросшими мохом буквами... А надо всем простерто безбрежное синее покрывало покоя, словно сама вечность прилегла под этим мирным небом, чтобы напомнить о себе. Покой...

Однажды в знойный июльский полдень этого памятного 1936 года я не пошел бродить по кладбищам. Захотелось посмотреть мечети, знакомые мне до той поры по детским впечатлениям; я должен был увидеть их глазами начинающего арабиста, уже прослушавшего в университете курс истории халифата, курс истории мусульманского искусства и только что сдавшего самому Крачковскому курс Корана. Ряд коранических сур угнездился в моей памяти так прочно, что я их читал наизусть, чем поражал своего старого приятеля по шемахинской школе, азербайджанца Халила. «Когда окончишь университет, мы выберем тебя муллой», – говорил он мне, смеясь. «Что же представляют собой ритуальные здания ислама на зрелый взгляд? – спрашивал я себя. – Действительно ли здесь в южной стене устроена ниша, указывающая направление в сторону Мекки? А как выглядят кафедра проповедника и зеленое знамя? А где бассейн для омовения? А какая лестница внутри минарета? А сколько ворот во двор?»

Мечетей в Шемахе я помнил три: Сары Топрак и Джума помещаются на главной улице старого города; первая – у выхода на юго-западную дорогу, вторая – у юго-восточной. Третье здание стояло на одной из перпендикулярных улиц, поднимающихся в верхний город; двое боковых ворот вели из просторного двора в узкие пустынные переулки. Когда-то, школьниками, мы с Халилом долго осматривали первые две, и я решил, что сейчас мы опять пойдем туда как-нибудь вместе; ему, наверное, будет интересно при осмотре услышать человека, уже кое-что знающего по этой части из книг и лекций.

«Что это за мечеть? – подумал я, вступив во двор и осматриваясь. – Как она называется? Забыл я или совсем не знал?» Мне вспомнилось, как в 1922 году, еще мальчиком, я расширенными от ужаса и любопытства глазами наблюдал из верхнего города религиозную процессию шиитов, шедшую где-то здесь, по этим старым каменистым улицам. Громадная толпа мерно колыхалась, полуголые люди били себя – одни кинжалами по голове, другие цепями по плечам, стоны боли тонули в криках: «Шах Хусейн! Вах Хусейн! Шах Хусейн! Вах Хусейн!» Я еще не знал тогда, что Хусейн – внук основателя ислама Мухаммада, сраженный в битве при Кербела в 680 году; его гибель шииты, одно из двух крупнейших направлений мусульманства, оплакивают в течение уже тринадцати столетий... Все больше крови обгаляло пыльные камни, все большее иступление овладевало процессией. И потом... не сюда ли она повернула, не здесь ли запылали костры, на которых кипели котлы с мясом жертвенных баранов? Да, кажется... кажется...

Я оглядел широкий пустынный двор. Над ним, давно не тревоженная, звенела знойная тишина. Потрескавшиеся плиты дорожек, просторные площади и овальный бассейн заросли травой, высохшей и поникшей под долгим летним солнцем. Прямо передо мной, осыпавшиеся, с пустыми проемами стрельчатых окон, стояли бывшие стены мечети. Я заглянул внутрь – то же запустение царило и там, такие же серые камни, полускрытые дикой желтой растительностью, валялись в одиночку и грудями. Белые и коричневые бабочки беззаботно порхали над лиловыми цветами репейника. Ни одного звука не доносилось извне, нигде не было видно ни души. Мне вдруг стало не по себе из-за странного чувства отчужденности от живого мира, которое охватывало тем более, чем дольше, неподвижный, я стоял у руин и пытался представить краски, когда-то переливавшиеся в этом умершем здании, слова, давно отзвучавшие здесь. Где люди, толпившиеся здесь, как сложились их судьбы? Когда в последний раз они покинули эти стены? Что было на этом месте прежде? Я стоял и думал; век минувший, давно пережитый и оцененный, глядел изо всех углов, постепенно вливаясь в меня, как вода.

Потом оцепенение прошло; в каждом из нас, какой бы силой воображения и степенью перевоплощения мы ни обладали, настоящее сильнее прошлого. Я встряхнул головой и мед-

ленно пошел вокруг мечети. В дальнем углу двора показалось небольшое строение. «Что это? – подумалось мне. – Здесь кто-то живет? Здесь, в этой глуши?»

Нет, это не было обиталищем живых. Густая решетка в единственном окне была сплошь повязана разноцветными лоскутами материи – знаками посещения чтимой могилы, принятыми у мусульман. Я понял, что это «пир» – усыпальница святого, предмет поклонения верующих. В Шемахе было несколько таких «пиров», обычно при мечетях, но помимо этого один на склоне холма в верхней части города, где возвышался православный собор, другой – напротив, под двором бывшей летней резиденции бакинского нефтепромышленника Лалаева. Может быть, и здесь когда-то стояли мусульманские храмы?

Рядом с окном, прорезанным на уровне земли, несколько потрескавшихся каменных ступенек сходили к узкой дощатой двери, на которой висел замок. Он был не заперт, а только навешен; я распахнул дверь и заглянул внутрь. Еще ряд ступеней вел вниз, в полутьму. Спустившись, я очутился в подвале; от каменных стен веяло холодом, потолок тонул во мраке. Посреди помещения, освещенный трепетным светом лампы в боковой нише, стоял саркофаг под черной тканью. Две медные чашечки, испещренные ритуальными надписями, тускло мерцали у изголовья. Пол был чисто подметен, метла и кувшин с водой виднелись в одном из углов. Весь вид святилища говорил о постоянном уходе за ним.

«Кто здесь погребен? – подумал я. – Надо спросить у Халила, а еще лучше у Али-даи...» Али Наджафов, седой охранник в местном отделении Госбанка, старожил, которого весь город уважительно звал Али-даи – дядя Али, знал меня чуть ли не с пеленок. В смутные годы армяно-азербайджанской вражды у него на глазах зарезали его родителей. Но был он не озлобленным и не скорбным, а очень добрым, словно именно добром хотел почитать память тех, кто дал ему жизнь. Мальчиком я засыпал его вопросами о Шемахе:

«Что было здесь? А там? А кто жил в этом доме? А что написано над струей этого фонтана на тихой боковой улице?» Морщинистое лицо становилось задумчивым, Али-даи вспоминал... «Конечно, он знает про этот «пир», – бежала во мне мысль, – надо у него спросить... Потом прийти еще раз и осмотреть все снова... А кто этот доброхот, поддерживающий здесь огонь, подметающий?... Али-даи, если даже сам не знает, может меня с ним свести, и я узнаю еще одну историю из летописей старого Ширвана. Летописей... которых уже, может быть, давно никто не пишет... А написанное, где оно, бог весть...»

Я вздохнул и, еще раз обведя взглядом подвал, направился к выходу. Уже у двери мои глаза вдруг заметили нишу в стене, противоположной той, откуда светила лампа. Я напряг зрение; в нише что-то неясно белело.

Бумага... Рукописи! Трепетное мерцание лампы осветило несколько верхних листов, с которых скатились кусочки упавшей на них штукатурки. Вычурное письмо каллиграфа средней руки, лишенное той золотой меры, которая делает книги старых арабских писцов произведениями искусства. Смотришь такую книгу, переписанную около тысячи лет назад, и не налюбуешься, думаешь: как это он так смог, как у него не дрогнула рука, не сфальшивил глаз?... А здесь был почерк без души, деланный, угодые тяжелого пера.

Но что же за буквами, о чем здесь речь? Я прочитал несколько первых строк и разочарованно положил листы на место: это был Коран, одна из миллионов копий священного писания мусульман. Конечно, и среди них могут попадаться интересные образцы, в основном с точки зрения палеографии, однако шанс мал; обычные сборники не имеют большого научного значения.

Рукопись Корана заключала в себе стопку разрозненных листов среднего формата; я не уверен, что в них был представлен полный текст. Другой экземпляр, лежавший под первым, имел вид томика меньшей величины и тоже был лишен переплета; заключительная часть книги не сохранилась. По-видимому, ничего особенного не было и в остальных бумагах. Я уже собрался отойти от ниши, как вдруг, на всякий случай пошарив рукой под осмотренными

рукописями, нащупал третью, последнюю стопу листов. Это была кипа тетрадок, перевязанная накрест.

«Какие-то комментарии к святому писанию, – мелькнула мысль, – сколько их в мусульманском мире!» Каждый богослов, в большей или меньшей степени думавший над Кораном – думавший, конечно, в дозволенных верой рамках, – считает нужным дать свое толкование по целому тексту или его части. Изучение таких толкований подчас бывает очень полезным при научном переводе и комментировании Корана и потому, что ряд источников, по которым они составлены, до нас не дошел, и потому, что среди богословов нередко действовали весьма эрудированные люди. Однако в большинстве случаев мы видим сумму сухих схоластических рассуждений, не прибавляющих ничего нового к тому, что знает арабистика о Коране.

Я достал найденную связку, чтобы убедиться в правильности своей догадки, и первое, на что упал мой взгляд, когда наудачу раскрылась верхняя тетрадка, были слова «ва-каля айдан».

«Ва-каля айдан!» Я насторожился. Эта фраза, означающая по-арабски «и сказал также», или «еще он сказал», или просто «еще», чаще всего ставится в «диванах» – поэтических сборниках, где она, подобно нашим заглавию или пробелу, отделяет одно стихотворение от другого. «Стихи?.. – прошептал я. – Целая книга! Ее надо посмотреть очень тщательно. Что, если здесь неизвестная копия дивана какого-нибудь знаменитого арабского поэта?»

Сердце мое учащенно забилося. Молодости свойственно делать скоропалительные открытия, ибо ей непременно хочется, чтобы они были, и чувства в этом возрасте обычно опережают разум. Я бережно завернул рукопись в газету и вышел из подвала. Солнце клонилось к закату. За стенами мечети шел крутой подъем в новый город. Яркий свет и свежесть воздуха постепенно возвращали меня из мира грез в мир действительности. Еще несколько минут назад я упоенно думал: «Чей же это диван? Ахталя? Абу Нуваса? Абу-л-Аля? Какая сенсация! Невозмутимый Игнатий Юлианович будет потрясен...»

Мне уже представлялось заседание Ассоциации арабистов с докладом о неизвестном уникале, поздравления... публикация... И вдруг с усталостью от ходьбы в гору пришла мысль: «А может быть, это просто набор нравоучительных виршей какого-нибудь провинциального мудреца, пресное пособие для благонамеренных обывателей на все случаи жизни, составленное набожным законодателем мод?» Сколько таких пособий в арабской литературе! Сколько их тлеет в старых книгохранилищах Азии, Африки и Европы! Домой я пришел с головной болью и плохо спал ночь. Едва дождавшись утра, склонился над рукописью – арабские буквы, выписанные спокойным, твердым почерком, пристально смотрели мне в глаза, – склонился и не вставал до вечера, забыв обо всем.

«Атааллах, прозываемый Ширвани, а родом из Аррана, поэт и ученый Ширвана, сказал, когда ему повелело сердце... Ведь ум, оглядываясь на обстоятельства, оберегает жизнь и поэтому, видя сильного врага, приказывает сердцу: молчи! Но как быть, если жизнь короче времени, когда нужно молчать? Ум труслив, а сердце бесстрашно. Много сочинителей сложили по многу книг, изучаемых многими поколениями. Я, один из сыновей благословленной столицы поэтов, сложил всего одну книгу, которую прочтет ли хоть одно поколение? В жизни моей совместились восток и запад, стужа и пламень, тлен и благоухание. Я родился под жестоким небом, осыпавшим меня грозами и ливнями; но солнце, попирающее просторы неба, взрастило во мне эту книгу...

Если бы захотелось наделить ее именем, то какое выберу? Тюрк назовет мои стихотворения «конями златогривого табуна», а перс – «лепестками золотой розы», индеец – «звездами жемчужного ожерелья», араб – «жемчужными каплями родника в пустыне». Что выберу? Ищущий, ты найдешь здесь все это, если аллах – да возвысится он! – подвигнет ум твой к исканию и отвратит от самодовольства...»

Я задумался. Ширвани, а может быть Аррани, – не помню, чтобы Игнатий Юлианович называл такого автора в своем курсе литературы, хотя, конечно, он и не мог – по количеству

часов – дать исчерпывающего списка. Нужно по возвращении в Ленинград посмотреть у Брокельмана. Карл Брокельман... Трудолюбивый немецкий ученый всю жизнь составлял перечень арабских авторов и их произведений, с учетом всех рассеянных по миру рукописей, где эти произведения содержатся. Его двухтомная «История арабской литературы», настольная книга каждого арабиста, вышла еще в 1898–1902 годах, а повторно, в значительно увеличенном объеме, сорок лет спустя. В конце Второй мировой войны престарелый подвижник науки был еще жив; ленинградский коллега, оказавшийся на земле Германии в составе Советской Армии, видел его в нищете и поделился с ним тем немногим, что имел.

Самому мне имя автора поэтического сборника ничего определенного не говорило. Я знал, что в прошлом столетии в Шемахе действовал Сеид Азнам Ширвани – именем его назван городской музей; был еще, кажется, Гаджи Зейнаддин Ширвани. Но Атааллах... Впрочем, всех ли Ширвани мы уже знаем? Ведь так, по древнему названию области, центром которой была Шемаха, мог называть себя каждый пишущий ее житель. А пишущих в Ширване, должно быть, насчитывалось немало: Шемаха была не только «столицей поэтов», но и столицей суверенного государства, принимавшего у себя и западных, и московских послов. Побывал здесь пять веков назад и первый русский путешественник по Индии – тверской купец Афанасий Никитин. Так что Ширвани – это не «Москвин», а скорее, «москвич» или, как говорили когда-то, «москвитянин». К тому же наш автор мог войти в историю литературы как Аррани – уроженец Аррана, степной части Азербайджана, тяготеющей к рекам Куре и Араке. Все это должно было выясниться позже.

Рукопись оказалась сборником стихотворений, главным образом, на арабском, отчасти на персидском языке, чаще всего небольших по объему; значительная доля приходилась на рубаи – четверостишия, форма которых хорошо известна по Омару Хайяму. Выяснилось, что из традиционных шестнадцати метрических схем поэт пользуется наиболее ходкими, главным образом, *тавилем* и *мутакарибом*. По арабской традиции страницы не были пронумерованы; вместо этого внизу каждой из них переписчик выставил первое слово следующего листа. Проверка показала, что все листы сохранились – отлегло от сердца, можно было спокойно знакомиться с найденным сборником.

Первый день работы подошел к концу. Что-то скажет последний?

Вернувшись осенью в Ленинград, я бросился к своду Брокельмана. Ни «Лепестки золотой розы», ни другие из приведенных имен книги, ни их автор у него не значились. Я обратился к «Истории арабской литературы» Хаммер-Пургшталля – нет! К «Энциклопедии ислама» – нет! Игнатий Юлианович тоже ответил отрицательно:

– Ширвани? Аррани? Не припомню... Судя по именам, это, скорее, персидский литератор, не зря он отсутствует у Брокельмана!

– Но он писал по-арабски...

– Может быть, это просто перевод с персидского?.. Может быть, это новейший автор, не попавший в поле зрения просмотренных вами справочников? Понимаете, здесь все очень сложно. Можно хорошо разобраться во всех особенностях рукописи, выяснить стиль писателя, даже его источники – и при этом биться над идентификацией всю жизнь; часто бывает, что такие целеустремленные поиски ничего не дают, иной готов уж и рукой махнуть на это, как вдруг неожиданно, при работе над совсем другой темой, может всплыть ответ на то, что давно мучило: вот, оказывается, в чем дело, и только в этом! Так и вы с вашим поэтом можете проискать до конца дней своих, а уверены, что он этого стоит? Мой вам совет: не беритесь за преждевременные работы и не распыляйтесь. Все-таки вы пока студент, и ваше основное дело сейчас – накапливать знания. Издание стихотворного дивана требует большой подготовки. Приобретайте ее постепенно, наука не терпит спешки. Отложите ваш сборник на дальнейшее и не ставьте себе никаких сроков...

«Наука не терпит спешки». Глубоко правильны ваши слова, Игнатий Юлианович. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Но разве я спешу? Да, я студент, накапливающий знания; таким останусь и будучи профессором, иначе ученому смерть. Но что бы я в арабистике ни делал, «Лепестки» всегда будут рядом. И каждый день я буду пробиваться в их мир хотя бы на строку...

Шел мой четвертый, предпоследний, особенный, курс: оглянешься – все еще совсем внове, будто лишь вчера поступил в университет; посмотришь вперед – уже явственно брезжит весна диплома, выход в самостоятельную научную жизнь. Как летят студенческие годы! Не удивительно, ведь каждый день до краев наполнен чужой и своей мыслью, их диалог выходит с тобой из аудитории на улицу, когда спешишь в общежитие, возвращается в библиотеку, продолжается, когда едешь в трамвае или стоишь в какой-нибудь очереди... Трудную работу студента нельзя делать по часам; наука требует уже у первокурсника: все или ничего.

Учебник Василия Васильевича Струве по истории древнего Востока, который я подготовил к печати на первом курсе, конечно, не был моей оригинальной работой: я строго шел в фарватере мысли любимого профессора. Но, не говоря уже о том, что эта работа навсегда привязала меня к Струве личными узами, я тогда впервые смог представить себе масштабы и глубину зрелого исследования. Это был серьезный урок. Первая статья, написанная мною уже на третьем курсе, «Арабская картография в ее происхождении и развитии», несмотря на солидное название, была узкой по охвату материала, хилой по доказательности и претенциозной по языку. Однако я и сейчас не могу опровергнуть ее в основных положениях, а тогда, на том же третьем курсе, именно проделанная для этой статьи подготовка позволила мне выступить с возражениями против частностей в одной книге крупного ираниста. У порога четвертого курса появилась и третья статья, содержащая поправки к карте арабских торговых путей в Большой советской энциклопедии.

И вот четвертый курс: окрыляющая неожиданность – индивидуальные занятия с Крачковским; окрыляющая находка – три лоции проводника Васко да Гамы, неизвестные произведения неизвестного жанра арабской литературы. Штурм уникальной рукописи, еще никем не прочитанной, штурм, где оружие куется на ходу, а время не ограничивается. И рядом – окрыляющее сопровождение: «Лепестки золотой розы».

Да, окрыляющее сопровождение. Человек может хорошо делать какую-то одну работу, но постепенно он от нее устает, она, даже любимая, становится ему в тягость. Что делать, мы все – порождение хрупкой материи. Но эта же работа может всегда оставаться желанной, если ее сочетать с другой, столь же милой сердцу; работа над книгой и симфонией, поэзия и ваяние оттеняют, обогащают и стимулируют друг друга. Тогда я еще не знал, что стихи Аррани, сохранившиеся в моей памяти, будут помогать мне не только творить, но и жить, хотя иногда и спрашиваю себя – могу ли вообще представить жизнь вне творчества?

—

В багдадский полдень, в тяжелый жар,
Когда свернулся клубком базар,
Молчат, уткнувшись в лазурь, дворцы,
Под сказки дремлют в садах купцы,

Восток и запад спрямляют лук
По минарету ползет паук,
Комар супруге поет: «Ля-иль!» {«Ля-иль!...» начало призыва к молитве.},
В кофейнях нищий глотает пыль

Уходит Дигла{Дигла – река Тигр, на которой стоит Багдад.
Абу Нувас (747-815) – выдающийся поэт арабского
средневековья.} в свои пески,
Ложится буйвол на дно реки,
И лишь, бросая в песок следы,
Бежит разносчик: «Кому воды!»

В багдадский полдень, в урочный час
Пришел к халифу Абу Нувас,
Поэт придворный, певец вина
И женской ласки – любви струна.

Рукой прикрывши усмешку глаз,
Другою – сердца певучий саз{Саз – музыкальный инструмент.},
Он сплел из лести узорный бейт{Бейт – по-арабски стих.},
Каких не слышал и сам Кумейт{Кумейт ибн Зайд ал-Асади (679
—743) – один из выдающихся поэтов раннего ислама.}.

Халиф поэта не услышал:
Он забавлялся с прекрасной Хал{Хал – «родинка», имя
чернокожей рабыни}.
Царь эфиопов ему прислал
В подарок этот бесценный лал{Лал – «рубин»}.}

Невольниц властных слуга и бог
Холодным взглядом певца ожег.

Упали тени певцу в чело,
Обиды чувство его сожгло.
Вскипело сердце – и тот же час
Дворец покинул Абу Нувас.

Но, полон думы о тех двоих,
Он на воротах оставил стих:

«Мой ненужный стих зияет посреди твоих дверей,
Как зияет ожерелье на любовнице твоей».

Прошло мгновенье – и страж донес:
«Венцу вселенной – ничтожный пес.
Твои ворота черней чернил:
Нувас безумный их осквернил.

Ключу Сезама, презрев хвалу,
Поэт ослепший изрек хулу.
Не знает страха! И чужд стыда!»
Халиф разгневан: «Подать сюда!»

Приказ исполнен – и в тот же час

Вошел в ворота Абу Нувас,
Но мимоходом, достав чернил,
Он букву в каждой строке сменил.

Халиф ломает любви кольцо,
Чернее бури его лицо.
«Печать шайтана, собачья кровь!
Так вот кому я дарил любовь!

Пророк не даром – да чтится он! —
Из Мекки выгнал поэтов вон.

Клянусь: не будет тебе удач!
Молись аллаху: к тебе в закат
Прибудет, – волей моею свят,
За головою твоей палач».

Поэт смиренно простерся ниц:
«О, свет в решетках моих ресниц,
Зенит ислама, звезда времен,
Копье и панцирь земных племен!

И смерть услада, коль бремя с плеч
Твоей рукою снимает меч.
Но, правоверных сердец эмир,
К словам аллаха склонивший мир,

Тебе известен удел певца:
Безмерна тяжесть его венца.
Глотая зависть, в годах враги
Подстерегают его шаги.

Капризно слово: перевернуть
Его значение – трудней вздохнуть.
Ты сам на надпись мою взгляни,
Потом – помилуй или казни».

Гоня внезапно восставший стыд,
Идет к воротам Харун Рашид{ Харун ар-Рашид (786—809) –
халиф из династии Аббасидов. }
А там, как будто два голубка,
Прижались нежно к строке строка:

«Мой ненужный стих сияет посреди твоих дверей,
Как сияет ожерелье на любовнице твоей».

Поэт халифу к ногам упал.
Халиф поэта поцеловал.
«Ты – мозг поэтов. Но ты бедняк.

Клянусь Аллахом – не будет так!

Ты был нижайшим в моей стране.
Теперь ближайшим ты станешь мне.
Врагам навеки закроешь пасть:
Тебе над ними дарую власть».

Он долго смотрит в глаза ему,
В рабе такому дивясь уму,
В ладоши хлопнул – и в тот же час
Осыпан златом Абу Нувас:

Повел бровями – и в тот же час
Бессмертным назван Абу Нувас.
Потом простился – и в тот же час
Багдад покинул Абу Нувас.

Книга вторая

Путешествие на восток

*Ветер задувает свечи и раздувает пламя.
Ларошфуко*

У «всех скорбящих радости»

«Каждое слово хранит в себе тайну своего происхождения. Она продолжает оставаться тайной, пока мы не любопытны, пока пользуемся словами по привычке, переданной нам старшим поколением, не вглядываясь в их собственное лицо».

... «Познавая при помощи языка мир вообще и более глубоко – одну из его областей, мы оставляем в стороне слова сами по себе и такими уходим из жизни. За нами остался загадочный остров посреди исплаванного нами мелководного залива, того залива, который мы принимаем за покорившийся нам океан науки. Такого заблуждения не было бы, прильни мы мыслью к острову Слова – ведь тогда удалось бы проникнуть в такие глубины истории мира, взойти на такие вершины, что трудно себе и представить: языки земли – это еще одна вселенная со своими яркими и тусклыми звездами, своими страстями и летописанием».

... «Те же, кто все-таки избрал своей специальностью филологию, даже если они не видят в этой «тихой» и «чистой» науке просто убежище от житейских бурь... если для них филологический труд – не источник земного благополучия, а призвание, влекущее их за грань усвоенных ими знаний... как часто эти люди оказываются во власти гипноза! Да, не надо отводить глаза – есть он, гипноз имен, званий, традиции, извечная она, эта страшная заразная болезнь студентов и зрелых ученых. Не позволять себе и думать о проверке сложившихся взглядов. Исповедовать их всю жизнь, потому что «так принято», «так считает Иван Иванович». Ни в чем не соглашаться с редкими инакомыслящими, спорить ради спора. Насколько это замедлило шаг филологической мысли!»

... «Сколько открытий было бы сделано, не будь мы слишком сговорчивы, не уставай мы чересчур быстро от возражений, не изменяй мы строгости принципа! Это не призыв к свержению учителей, нет, да здравствуют наши учителя! Однако не истина должна существовать, поскольку ее высказывают авторитеты, наоборот, авторитеты неизменно должны существовать лишь постольку, поскольку они высказывают истину...»

Так думал я в один из февральских дней 1938 года, шагая по камере в ленинградском Доме предварительного заключения. Спереди и сзади меня размеренно, как часы, двигались другие арестанты; одни вполголоса переговаривались, другие, опустив голову, предавались раздумьям – о семье ли, оставшейся без кормильца, о своем ли неясном будущем. Стоял тот поздний утренний час, когда призрачная утеха от кружки кипятка с куском черного хлеба уже давно растаяла, а обеденной баланды еще не несут, и заключенные коротают время в хождении кругом посреди камеры, один за другим, пара за парой. Шаг следует за шагом, минута за минутой. Только что пущены в ход часы арестантского срока – только что, хотя кое-кто просидел уже несколько месяцев. Ибо что значат месяцы в сравнении с годами и десятилетиями жизни в тюрьме?

Люди, не знавшие за собой вины, со дня на день ждали освобождения. Скептики, умудренные жизнью, не были столь категоричны в прогнозах: всякое бывает, могут и осудить невиновного. Они составляли пока немногочисленную группу, большинство же, особенно моло-

дежь, твердо верило в справедливость: «такое» не может продолжаться долго, «там, наверху» разберутся и освободят всех, кому не место в заключении, кого ждут родные, друзья и работа.

Я, студент последнего курса университета, арестованный за четыре месяца до защиты диплома, озабоченно думал: вот мне пришлось провести в тюрьме целых две недели; это, в конце концов, еще не так много: если завтра послезавтра выпустят, можно быстро наверстать упущенное, написать и защитить диплом в намеченный срок, в июне, а осенью поступить в аспирантуру. Если освобождение задержится – нас-то здесь немало, с каждым нужно разобраться – наверстывать будет, конечно, все труднее... Но все должно хорошо решиться, не далее конца года! Я живо представлял себе радость встреч с учителями, товарищами и древними арабскими рукописями.

Но освобождение не приходило, и мысли о нем постепенно отступали на второй план. Их место заняла филология, которой годами была полна голова; для студента-филолога это естественно. Занятия на факультете давали большой простор и необходимые данные для создания работ на частные темы. Теперь, лишенный рукописей, книг, бесед с учителями, я обратился мыслью к общим вопросам языка, к предварительным построениям, обоснованию своего взгляда на происхождение человеческой речи, и посвященные этому раздумья все больше отвлекали меня от окружавшей трагедии.

За четыре с лишним университетских года память сделала некоторые основательные приобретения в мире общей лингвистики, они стремились к смелым выводам: не все решения выдержали испытание временем, но некоторые из них сохраняют значение и сейчас. Главное же состоит в том, что сосредоточенный труд ума позволил мне от первого до последнего арестантского дня – с 1938 по 1956 год – сохранить активно работавший мозг. Он мог переносить углубленное внимание от предмета к предмету, но никогда не дремал и не погружался в пучину безразличия. В тюрьмах, в ссылке, в каторжных лагерях пришлось убедиться как это важно для будущих, послетюремных свершений, к которым я себя готовил. Мысли, начавшие эту главу, сопровождавшиеся моими шагами по камере, явились одной из живительных частиц, сберегших меня самого.

...Итак, мы пока находимся в камере 23 ленинградского Дома предварительного заключения, сокращенно ДПЗ. Три буквы, мрачно звучащие при их соединении, остряки за решеткой растолковывают по-своему: «Дом пролетарской закалки», «Домой пойди забудь». Невдалеке от нашей «внутренней тюрьмы» квартал замыкает старинная церковь по имени «Всех Скорбящих Радость». Название не случайно: ДПЗ был Домом предварительного заключения и при царях, здесь, в камере I и соседних, провели последние дни перед казнью Софья Перовская и ее товарищи, отсюда, через темные кованые ворота, поглотившие меня две недели назад, «цареубийц» увезли на виселицу: примыкающее к «внутренней тюрьме» тяжелое коричневое здание местного управления НКВД воздвигнуто в 1930-х годах на месте бывшего окружного суда, где Перовскую и других участников дела 1 марта 1881 года осудили на смерть. Улица Воинова, прежде Шпалерная, в петровское время – Первая линия, многое ты повидала! На месте «Всех Скорбящих Радости» когда-то стоял деревянный дворец Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра I, но напротив двенадцатью окнами выходили на Первую линию покои злосчастного царевича Алексея, умерщвленного отцом, а дальше по той же стороне возвышались палаты казненного тогда же в новорожденном Петербурге адмирала Кикина. А незадолго перед моим арестом электромонтер, пришедший чинить проводку, рассказывал: «Иду по Шпалерке мимо НКВД и вдруг вижу – оттуда, из окна верхнего этажа, выбросился человек. Он умирал на моих глазах в луже крови на тротуаре». А давние кованые ворота распахиваются и смыкаются, вбирая в тюремный дом новых и новых узников. Да, недаром возникло на малоприметном старом углу название «Всех Скорбящих Радость»...

Память сохранила мельчайшие подробности ареста. В три часа ночи с 10 на 11 февраля 1938 года раздался стук в дверь комнаты 75 общежития на Петроградской стороне. Вспыхнул

свет, вошли двое в шинелях, спросили паспорта проживающих. Недавно такая проверка уже была, я протянул выдававшийся иногородним студентам листок с годичной пропиской. Один из ночных гостей бегло взглянул на фамилию и произнес:

– Одевайтесь, поедете с нами.

Рядом с покидаемой койкой на столе помещались мои книги из университетской библиотеки, книги, приобретенные в букинистических лавках, бумаги, рукописи. Чтобы проверить весь этот скарб увозимого студента охранникам понадобились четыре часа. Составленную мной по-арабски цветную карту средневекового мусульманского государства взяли с собой – подозрительная самоделка – к ней присоединили письма покойной матери, остальное бросили в шкаф, опечатали. В семь часов утра черная «маруся» помчала меня в стражу мимо Петропавловской крепости, через Неву, мимо Летнего сада к улице Воинова. Тяжелые ворота раскрылись... Вспомнилась терцина Данте:

Пройдя меня, вступают в скорбный град,
Где лоно полнят вечные печали,
Где павших душ ряды объемлет ад...

Из тесного двора я попал на второй этаж; здесь были отобраны часы, срезаны пуговицы с одежды. После этого меня заперли в узкой камерке без окна; помещение было уже туго набито жертвами ночного улова, один старик стал задыхаться, ему не хватало воздуха. Вскоре всех арестованных перегнали в большую сборную камеру, полную народа. Проходя туда по тесному коридору, я мельком взглянул на длинную и высокую решетчатую стену справа; за решеткой молчаливо извивалась густая толпа, месиво заросших мужских лиц и полуобнаженных бледных тел медленно ворочалось в смрадной духоте. Потрясенный всем пережитым в течение бессонной ночи и первого тюремного утра, я свалился на каменный пол сборной камеры и забылся тяжелым сном. Потом почувствовал, что кто-то ко мне прикоснулся и зовет по имени.

А, это Ника Ерехович, студент-отличник нашей кафедры семито-хамитских языков и литератур, только не арабист, как я, а египтолог. Ника – большой книжник и весьма искусно рисует пиктограммы. Специальности не выбирал, она его нашла сама: еще школьником упрямил крупных наших востоковедов Наталию Давыдовну Флиттнер и Юрия Яковлевича Перепелкина преподавать ему древнеегипетский язык.

– Ника! И ты здесь!

– Да, меня взяли сегодня с лекции. Вызвали к ректору, а там уже были двое в штатском... Повезли на Правый берег Невы – я там снимал комнатку – перерыли все, потом привезли сюда...

Почему он здесь? Наверное, «подвело» происхождение: отец Ники был генералом в свите Николая II, а его крестным отцом был сам последний император.

Из гудевшей встревоженными голосами сборной камеры мы попали в баню, где «вольную» одежду обработали хлорной известью. И, наконец, вечером всех арестованных развели в постоянные камеры. Ника попал в 24-ю, я с тремя другими – в соседнюю 23-ю, остальные – кто куда.

...Загремел замок, решетчатая дверь в решетчатой стене приоткрылась, впуская нас в просторное, полное людей обиталище. Долго ли мне тут быть? Какое-то недоразумение, спутали, что ли, с кем? Ведь за мной нет никакой вины, ничего, я... Десятки заросших лиц обращены к двери, десятки блестящих и потухших глаз осматривают вошедших.

– Новички, сюда! Какие новости на воле?

– Есть ли еще Советская власть?

– Где же она, где?

Вечером 15 февраля черный занавес, навешенный на решетчатую стену камеры со стороны коридора, всколыхнулся, прозвучал голос охранника:

– Кто на «шэ»?

Так, по первой букве, тюремная охрана вызывает арестанта. Произносить полную фамилию нельзя – вдруг человек содержится не в этой камере, а ведь узникам запрещено знать о запертых в других помещениях.

– Кто на «шэ»? – нетерпеливо повторил голос, не получив ответа в первую секунду.

– Шиндер.

– Нет.

– Шелебяка.

– Нет.

Третьим назвался я.

– К следователю!

Застучал замок. Меня повели полутемными внутренними коридорами. Яркая, как лезвие ножа, стремительная, как его удар, вдруг пронеслась мысль: сегодня, после многолетнего перерыва, в оперном театре дают «Аиду». Вот сейчас польются в замерший зал бессмертные звуки увертюры... Мы, четверо друзей, договорились неделю тому назад: отложить все и быть сегодня на Театральной площади. И вот!.. Глухой каземат, меня конвоируют... Куда я иду, зачем? Кто этот следователь, к которому я не имею никакого отношения? Может быть, он скажет, в чем дело?

Лифт. Поднялись, вышли в широкие освещенные коридоры, застланные дорожками. Это уже не «внутренняя тюрьма» с ее каменными заплеванными полами – это соединенное с нею лабиринтом переходов управление НКВД. Меня ввели в один из множества кабинетов. За столом восседал молодой человек с невыразительным скупающим лицом под коротко остриженными волосами.

– Садитесь, – бросил он мне.

Последовал анкетный опрос. Потом Филимонов – так звали моего собеседника – поднял глаза от протокола, пристально посмотрел на меня и спросил:

– Как думаете, за что вас арестовали?

– Не знаю.

– Не знаете! Как же так? Раз человека лишают свободы, значит, за ним что-то есть?

– Я невиновен.

– «Невиновен». Все вы говорите так, а потом оказывается... оказываются горы преступлений! Если в вас есть какая-то совесть, почему не сознаться: да, оступился. Следствие учтет чистосердечное раскаяние.

– Мне не в чем раскаиваться.

– Хватит! – Филимонов стукнул кулаком по столу. – Не вкручивайте мне шарики! Мы невинных не берем! Если вы запираетесь, если вам не хватает простого мужества сказать правду... что же, придется помочь...

Он откинулся на спинку стула и остановил на мне тяжелый неподвижный взгляд.

– Вас арестовали за систематическую антисоветскую агитацию. В частности, вы говорили: «выборы в Верховный совет – комедия...»

– Никогда! Никогда! И в мыслях не было!

Филимонов уже не слушал меня.

– Кроме того, вы состояли в молодежном крыле партии прогрессистов. Эта партия охватывала ленинградскую интеллигенцию и стремилась превратить нашу страну в буржуазную парламентскую республику. В молодежном крыле вы были главным сторонником решительных действий.

– Этого не было. Неправда это.

– Будет составлен обвинительный протокол, который вы подпишете. Мы имеем средства, чтобы заставить вас это сделать.

Нажал кнопку звонка, вошел конвоир.

– Уведите.

Я шел потрясенный, все во мне дрожало. Впервые за двадцатипятилетнюю жизнь к моим глазам вплотную приблизились мертвящие глаза человеческой лжи и некуда было деться. Да нет, пусть лучше убьют за эти придуманные преступления, но клеветать на себя... нет, невозможно, нельзя.

В камере я втиснулся под нары, лег среди вповалку простертых тел – отбой уже прозвучал, узникам полагалось отойти ко сну. Думы о только что услышанном неотступно жгли. Внезапно из-под пола раздался протяжный стон, за ним другой, затем послышались вопли. Сосед, старый крестьянин, приподнялся; опершись о пол левой рукой, правой перекрестился:

– Опять...

– Что опять? – спросил я.

– Пытают... – голос его дрогнул. Ужас пробежал по мне.

– Пытают?! Кого?

– Вот тебе и «кого». Таких, как мы с тобой. Чтоб сознавались, чтоб кляли себя, значит...

Он рухнул на свое место, закрыл пальцами уши. Вопли продолжались, порой их перекрывала яростная брань палачей.

В следующую ночь истязания повторились. Наутро старожилы объяснили мне:

– Угол тюрьмы, где мы помещаемся, зовется «Таиров переулок». В него выходят четыре камеры: 21-я, 22-я, наша 23-я и 24-я. Под ними в первом этаже – пыточные застенки. Там с нашим братом расправляются как хотят. До смерти замучают – и это можно, спишут с учета, с котлового довольствия, и дело с концом. Тут никто ни за что не отвечает, наоборот, еще и награждают за усердие. Пару недель назад в тех застенках палачи также вот развлекались, потом вдруг стало тихо, мы уж подумали: все, натешились. Так нет, гляди-ка, опять...

Филимонов продолжал вызывать меня, требовал «признаний». Я все еще держался, но вопли из пыточных камер не выходили из головы. Постепенно сочиненный следователем протокол приобретал стройность и завершенность. Оказалось, что в «молодежное крыло партии прогрессистов» вместе со мной входили Ника (Николай) Ерехович и студент исторического факультета университета Лева (Лев) Гумилев. Товарищеские отношения на воле, причем неполные – Лева и Ника были незнакомы друг с другом, дали НКВД «основание» создать нам общее «дело», мы теперь «сопроцессники».

В камере бывалые арестанты спрашивают у каждого о ходе его «следствия», что ему «пришивают» и почти каждый охотно делится переживаниями, ищет поддержки в своей неравной борьбе. Ему дают бескорыстные советы, как держаться со «следователем», как себя вести. Мне сказали:

– Прискорбно твое дело, парень, да уж не так плохо. Здесь, в НКВД, изготавливают шпионов, изменников, диверсантов, а у тебя ничего этого нет! Теперь смотри: «буржуазный прогрессист», за это, конечно, по головке не гладят, но ведь не «фашист»! Считай, выпал счастливый номер. А погляди еще так: упрямисься, твердишь свое «невиновен». Да, они следователи, сами это знают, но ведь спущен план и должность свою надо отрабатывать. Так вот однажды могут затащить вашу милость под нашу камеру, кости переломают, что тогда? Никакому человеку, никакому делу не будешь нужен, останется в тебе дух после такой пытки – жизни рад не станешь. Это уже называется не жить, а гнить, и может быть много лет!

Все-таки я еще держался. И – дивно устроен человеческий мозг! – несмотря на остроту моего положения, на униженное существование – или именно поэтому? – каждый день приходили ко мне новые мысли, связанные с филологией. По-видимому, настолько было живо приобретенное занятиями в университете, что эти знания развивались уже сами по себе и

вследствие этого требовали выхода. Я не мог записать мыслей, примеров, доводов, являвшихся мне, – иметь карандаш и бумагу подследственным запрещалось – и повторял все про себя, чтобы не забыть. Обитель слова, будящего мысль, филология, наполняла мое существо, утешала и отрешала от переживаемой беды. Дошло до того, что я думал о словах разных языков, сравнивал их, приходил к выводам, даже стоя в боксах. Боксы – это будки с глухими стенами, расставленные на пути следования арестантов из камер на допросы и обратно. Если по этому пути навстречу вам ведут другого узника, конвоир командует: «в бокс» и вы, войдя в будку, остаетесь там, пока того не приведут: как и в случае с названием первой буквы фамилии заключенного, так сохраняется тайна ареста.

Упорствуя в отрицании обвинения, я как-то сказал при очередном вызове о презумпции невиновности, про которую недавно узнал. Филимонов рассвирепел – ибо не знал, что это такое, а кроме того слово «невинность» в устах арестанта его раздражало.

– К черту вашу призунцию, я знать ее не хочу! Понавыдумывали иностранных словечек, думаете за них спрятаться!

Вошел другой следователь.

– Что у тебя тут?

– Да вот, – махнул рукой Филимонов, – околесину несет.

– Ты что же, не знаешь, как разговаривать с врагами народа?

Но тут вошедшего позвали к телефону, он вышел. Филимонов мрачно сказал:

– Пора кончать нам с вами. Следствию разрешено применять крайние меры.

Тут его вызвали к начальнику следственного отдела, меня увели.

А завтра из какого-то служебного кабинета принесли Краузе. Говорили, что это один из «латышских стрелков», первых стражей и защитников Октябрьской революции. Людей привлекали его открытое лицо и открытый характер. Недавно этого человека схватили, вскоре стали часто таскать на допросы. И вот в очередной раз он пробыл там совсем недолго, а вернулся не ногами – на руках тюремной obsługi. Приняв у дверей камеры, товарищи бережно понесли его, положили на ветхие нары, и я увидел: Краузе неподвижно лежал на животе, а посреди обнаженной спины алым пятном била в глаза рваная рана. Невозможно было отвести от нее взгляд, стоя рядом с притихшими товарищами над изувеченным телом. Зло – узаконенное, сытое, прославляемое – торжествовало победу. Но нет, век этой победы будет недолог. Я сберегу себя, чтобы противостоять злу, чтобы радостно смеяться на его тризне.

Безмерно тяжело взваливать на себя несуществующую вину. Но еще тяжелее, став калек, лишиться себя возможности мыслить и созидать.

Я подписал протокол дознания 26 марта, «следствие» закончилось. Человек привыкает ко всему. Тюремный быт напряжен, однако мне постепенно становилось не так трудно уединяться мыслью, как вначале: каждодневность одинаковых ощущений притупляет внешние, губительные отзывы души на переживаемое и обостряет внутренние, спасительные. Чем полнее в человеке внутренняя жизнь, тем слабее воздействие на него внешних неудобств – и, конечно, наоборот.

Среди множества, в среднем примерно восьмидесяти людей, запертых в камере на площади сорок квадратных метров, передо мной с течением времени вырисовывались отдельные фигуры.

Борис Борисович Полюнов. Седой, морщинистый, но бодрый член-корреспондент Академии наук СССР, почвовед. Поездка в Англию на конгресс помимо обычных впечатлений наполнила его гордостью от того, что в лондонском научном центре он увидел на видном месте портрет своего учителя – знаменитого Докучаева. Но путешествие к берегам туманного Альбиона обошлось Борису Борисовичу дорого: его обвинили в том, что он запродавал английскому королю советскую Среднюю Азию; раз так, то к основной вине легко «пришились» почти все другие пункты памятной миллионам 58-й статьи Уголовного кодекса: шпионаж, вредитель-

ство, террор, диверсия... словом, едва ли не «полная катушка» по арестантскому выражению. Следствие над Полюновым давно закончилось – он сидел уже второй год – и его не трогали, о нем позабыли; тем, кому по должности полагалось «тащить и не пущать», хватало работы по горло: ворота всех тюрем страны открывались перед новыми и новыми толпами попавших в заточение.

Старый петербуржец Александр Александрович Скарон. Я так и не узнал о его роде занятий, потому что, когда он, молча присаживаясь рядом со мной, неизменно тяжело вздыхал, время общения уходило на то, чтобы попытаться его утешить, вселить в усталое старческое сердце надежду на просветление. Постоянно скорбящие долго не живут, и я опасался даже за близкое его будущее. Не знаю, много ли дней отпустила ему жизнь после того, как нам пришлось расстаться перед осенью того же 1938 года.

Староста камеры Степанов, крестьянин из какой-то ленинградской «глубинки». Представление об этом человеке связано во мне с воспоминаниями о неколебимой арестантской законности, пронизанной требованиями солидарности, справедливости, этики, если угодно – самой чести. Степанов, единственный кто имел бумагу и карандаш, разумеется, втайне, вел список населения камеры с указанием даты ареста каждого. Соответственно тюремному стажу – только ему – осуществлялось распределение скромных удобств жизни заключенного. Давние узники имели преимущественно перед новичками, но так как состав заключенных постоянно менялся (одних куда-то переводили, других приводили), то новички с течением времени становились «лордами», «старичками», заслужившими уважение и почет за долгие страдания. Мне, проведенному в 23-й камере первые полгода тюрьмы, довелось полностью пройти «путь наверх»: во время обеда я сперва вместе с другими новоприбывшими стоял в углу около открытого унитаза туалета, держа в одной руке оловянную миску с баландой (жидкость с редкими капустными листьями и рыбьими костями), а в другой ложку; по мере выбытия старших по стажу, я в соответствии со степановским списком передвинулся на освободившееся место за «третьим столом» – уже можно было сидеть, потом за «вторым» и, наконец, в качестве заслуженного узника уселся за «первый стол», который в камере почтительно звали «столом лордов». Этим нарастающее «благоустройство за выслугу лет» не ограничивалось: ночью столешницы «второго» и «третьего» столов снимались с козел и превращались в нары – «юрцы»; я первоначально спал в тесноте под ними, позднее – уже на них, и было чуть просторнее. Все передвижения людей на обеденные и спальные места производились по команде Степанова, и обсуждать их не было смысла, ибо они оправдывались единственно справедливым доводом – тюремным стажем; на исключение из правила могли рассчитывать лишь инвалиды и больные.

Нужно вспомнить еще об одной благородной черте, проникшей в арестантский быт издавна, быть может, от народовольцев или даже от декабристов: заключенные, получавшие продуктовые передачи с воли, обязательно делились их содержимым с неимущими товарищами – это рассматривалось как долг тюремной чести. В ленинградском Доме предварительного заключения всем его обитателям, даже тем, у кого было закончено следствие, не разрешалось ни получать передачи, ни иметь свидания с родными. Но те, у кого при аресте были изъяты и зачислены на лицевой счет принадлежавшие им деньги, могли один раз в месяц выписать продукты на 25 рублей. В однообразной жизни камеры день такой «выписки» и особенно получения вожделенных яств был праздником, радостная суэта оживляла бледные, заросшие лица, потухшие глаза. И счастливые обладатели небольших мешочков с маслом, колбасой, чесноком, папиросами, еще не наглядевшись вдоволь на свои сокровища, подходили к столу и клали свой взнос в помощь товарищам, жившим только на скудном казенном пайке.

Тюремное товарищество помогало и сближало.

«Какая смесь наречий и сословий!» Из сумрака воспоминаний полувековой давности о 23-й камере медленно, одеваясь живым светом, выступают навстречу мне: старый большевик, поседевший в царских тюрьмах – и кавалергард, стоявший на карауле у царских покоев;

заведующий отделом обкома партии – и церковный староста; полярник, морской командир, актер... У каждого свое наречие, свой язык – профессиональный и общественный.

И никого из них я не встречал на воле. Как, следовательно, широк мир и как широко простерлась рука, согнавшая в казематы столько не знакомых друг другу людей!

Но нет, мир все-таки тесен. 9 апреля в камеру ввели человека, лицо которого показалось мне знакомым.... Да, это профессор Генко, крупнейший кавказовед страны. В октябре прошлого 1937 года он выступал в Институте востоковедения Академии наук на всесоюзной сессии Ассоциации арабистов с докладом об арабских влияниях на Кавказе. Мне запомнились энергичные черты, порывистые движения, живые глаза, черные ухоженные усы. Профессор был красив, говорили, что он происходит от греков.

– Здравствуйте, Анатолий Нестерович!

Генко вздрогнул, испытующе посмотрел на меня.

– Вы кто? Откуда я вам знаком? Арестанты с любопытством прислушались к нашему разговору.

– Анатолий Нестерович, вы делали доклад... читали доклад на сессии арабистов... Она проходила под председательством учителя моего, Игнатия Юлиановича Крачковского... Я выступал тогда в прениях по вашему докладу.

Генко опустил голову.

– Да-да, сессия... доклады... Игнатий Юлианович... Все это теперь кончилось для меня, все пропало... как моя библиотека, которая была мне дороже самого себя...

– Отбой! – крикнул охранник сквозь решетку. Все засуетились, начали спешно настилать нары, укладываться спать.

На следующий день мы с Анатолием Нестеровичем долго сидели в стороне, вспоминая Институт востоковедения. Академик Крачковский предложил мне внештатную работу в Арабском кабинете этого института, когда я был студентом четвертого курса, таким образом, к середине пятого довелось узнать многих научных сотрудников. Значительную их часть, начиная от директора, академика Самойловича, поглотило лихолетье, которое переживала страна. Как правило, жертвами расправ были самые талантливые; судьба Крачковского, особенно после зловещей статьи Л. И. Климовича в 1937 году, висела на волоске. Разговор наш с Генко переходил от человека к человеку, одного только я старался не касаться – того, что всего полгода назад Анатолий Нестерович был выдвинут в члены-корреспонденты Академии наук. Собеседнику было бы тяжело вспомнить об этом в тюремной камере.

Генко стали таскать на допросы, чаще всего, как было принято, ночные. Они действовали на профессора особенно угнетающе и разрушающе: он осунулся, побледнел, стал повышенно возбудимым скорее, чем другие. Вместе с появившейся проседью, обвисшими усами и недавно щегольским, а теперь мятым и запачканным синим костюмом это производило удручающее впечатление.

– Знаете, – сказал он мне однажды, лихорадочно блестя глазами, – я хочу с вами проститься. Если вам суждено выйти на свободу – дай вам это бог, вы же еще так молоды – поклонитесь от меня дорогому нам обоим Институту востоковедения.

– Анатолий Нестерович, о чем вы говорите?

– Когда меня вызовут на очередной допрос, я не вернусь в камеру. Брошусь в пролет лестницы, и все будет кончено. Нет смысла и нет желания жить.

Я задрожал всем телом и приготовился умолять обессилевшего душой человека отказаться от рокового решения. В тот же миг из-за решетки прозвучало:

– Кто на «гэ»?

Генко увели. Я в ужасе смотрел на сомкнувшуюся дверь. Почему было не крикнуть вдогонку: «Он хочет покончить с собой, остановите!» Но разве можно такое кричать, это бы

навлекло на него новые беды за попытку «уйти от заслуженного наказания». И все же... и все же... Да просто онемел язык от неожиданности вызова, от страха за этого человека...

Примерно через два часа загремел замок, в камеру вошел Анатолий Нестерович. Я бросился к нему. Он мельком взглянул в мои широко раскрытые глаза и обронил:

– Пролеты затянули сетками. Наверное, уже были случаи. Но я все равно... уйду от их рук и сроков. Теперь это окончательно решено, и отговаривать меня бесполезно.

Анатолия Нестеровича как-то вдруг перестали вызывать, – может быть, следователь уехал в отпуск? – и он часами сидел неподвижно, о чем-то думая. Ах, как бы хорошо, если б о своих кавказских языках!

Один раз, когда мы с ним тихо беседовали за «вторым столом» – очень хотелось не оставлять его наедине с мрачными мыслями – к нам подсел Борис Борисович Полынов.

– Угадайте-ка, что мне пришло в голову? – заговорил он, хитро сощурив глаза. – А вот что: давайте организуем в сих благородных стенах вольный, то есть неофициальный университет. Ей-богу, а? Слушателям будет польза, потому что они отвлекутся от всякой своей тоски, глядишь, узнают кое-что новое. Нам, лекторам, тоже будет весьма кстати побудоражить свои знания. Итак, я берусь читать курс географии в самом широком смысле, включая теорию ландшафтов, которая с неких пор стала моей слабостью, Материала хватит на сто лет. Вы, Анатолий Нестерович, смею думать, не откажетесь поведать нам о языкознании – здесь, как мне кажется, тоже много сверхлюбопытного. Ну, а Теодор...

– Борис Борисович, я предпочел бы пока слушать, а не говорить.

– Скромница! Вы же пятикурсник, без пяти минут дипломированный специалист!

– Пять минут оказались больно длинными...

– Ваш учитель Игнатий Юлианович Крачковский, которого я давно знаю и глубоко уважаю, тоже посоветовал бы вам не только писать статьи, но и выступать перед разными аудиториями. Ученый должен привыкнуть смотреть в глаза многим. Ладно, пока слушайте, а потом начните выступать, я вам советую...

Таково было рождение «вольного университета» камеры 23. Первая лекция состоялась в конце мая. Полынов читал ее увлеченно, с большим подъемом – знания требовали обнародования, но сказывалось и то, что старый ученый истосковался по своему делу, которому была отдана жизнь. Почти все обитатели камеры – исключение составляли плохо знавшие по-русски финн Рянн, ассириец Нисанов и некоторые другие – уселись вокруг докладчика и внимательно слушали. Народ ценит живое слово истинной – научающей – науки, обращенное к нему. Днем позже Анатолий Нестерович стал рассказывать об истории русского языка, об исторических судьбах слов, и я доныне помню благоговейную тишину, которая сопровождала негромкую – чтобы не привлекать внимание охраны – речь лектора, и вижу десятки блестящих любопытных глаз, устремленных к нему. Бесправные, униженные люди, которых пытались низвести до положения животных, вдруг на мгновения прикоснулись душами к чуду науки, оно отыскивало в них живой отзвук, напомнило о том, что они все-таки остаются людьми.

Деятельность «вольного университета», постепенно ставшая привычной частью внутренней жизни камеры, приподняла и осветила арестантские будни, наполнила их новыми увлеченными занятиями. Нашлись люди, знакомые с английским, французским, немецким языками, другие старались перенять их знания, прилежно заучивая незнакомые слова. Вряд ли они думали о практическом применении узнанного, их привлекали процесс изучения и его возвышенная природа, пробуждавшая в душе сознание человеческого достоинства и отвлекавшая на время от ужаса окружающей действительности. И вот уже кто-то предложил: «А что, если создать кружок философии, у нас же есть специалисты...»

Люди стремились вверх, но силы были слишком неравны: тяжкая пята распорядка «внутренней тюрьмы» и террор «следствия» распинали слабых, сдерживали осторожных, охла-

ждали всех, кто хотел избежать кары за «неположенные занятия». Ряды увлеченных понемногу редели, оживление стало выдыхаться.

В июле «вольному университету» был нанесен сокрушительный удар. Очередная «выписка» продуктов задержалась, и один из арестантов по просьбе Польшова и обкомовца Ильева продолбил отверстие в стене, чтобы получить из соседней камеры пачку папирос. Вероятно, дырка в стене была пробита узниками еще в прошлом веке. Ведь непросто было бы сейчас буквально за один вечер, действуя заточенной ручкой от оловянной ложки, выполнить столь трудоемкую работу. Может быть, лишь отыскивали спасительное отверстие, расширили... Как бы то ни было, папиросы были переданы, Ильев и Польшов с наслаждением закурили. Нашелся среди новоприбывших в камеру некто, который при очередном вызове к следователю донес начальству о случившемся. И вот загрохотал замок, дверь в наше обиталище широко распахнулась. Вошел корпусной начальник с двумя помощниками. Мы были построены в шеренги, он обратился к нам с прочувствованной речью.

– Вот! Народ строил эту тюрьму, силы на нее положил, а вы разрушаете! Какие же еще нужны доказательства тому, что вы и есть враги народа!

Умозаключение было неотразимым. Польшова с Ильевым увели в карцер, как-то забывши в их тени о третьем, возившемся у злополучной дырки; отверстие заделали. Предатель выдал себя вызывающим поведением в камере: считая, что в общество «преступников» он попал временно и что администрация на его стороне, он требовал внеочередного предоставления ему «удобств», полагающихся по арестантскому этикету старым узникам. С ним перестали общаться: не станем тебя душить, но уж разговаривать с тобой никакие твои начальники не заставят.

После отправки Польшова «на перевоспитание» наш «вольный университет» умер – ведь старый ученый, в котором кипела молодая душа, был «движущим духом» всех просветительных начинаний в камере 23: помимо личного участия в лекторской работе он организовывал выступления профессора Генко и некоторых других специалистов – всех, кого можно было втянуть в живой научный разговор, обмен мыслями. Нередко, отдыхая от лекций, Польшов читал вслух книги русских и западных писателей, которые ему удавалось получать в тюремной библиотеке. Я остро переживал разлуку с Борисом Борисовичем. Увижу ли я его еще когда-нибудь? Запомнилось, как однажды он сказал мне: «Нам с вами надо написать книгу о влиянии ландшафтов на происхождение и развитие человеческой культуры в разных обществах. Я возьму на себя географическую часть, вы – лингвистическую...» Сбудется ли?

А Генко после скоротечного оживления в ходе лекций медленно сходил на нет. Вновь я видел его отделившимся от всех, озирающимся затравленным взором, тяжело задумавшимся нелюдимом. Вступать с ним в беседу было труднее, чем раньше, – вмешательство со стороны, даже доброжелательное, стало его раздражать. Что-то его ждет?.. Кого спросить о нем, когда наши тюремные пути разойдутся? Через много лет я узнал: не то в 1939, не то в 1940 году Анатолий Нестерович был освобожден, опять увидел свою бесценную библиотеку, свой Институт востоковедения; но в начале войны был снова схвачен и уже не вернулся. Так и не пришлось больше встретиться с этим своеобразным – замкнутым, но щедро одаренным человеком, замечательным ученым. А с Польшовым судьба свела меня на два часа в 1946 году, но об этом нужно говорить отдельно.

Мои филологические раздумья, сопоставления, поиски примеров продолжались, постоянная работа ума поддерживала силы. А вот еще... Пишу эти строки, а передо мной лежит старый, сороковых годов листок бумаги, на котором почти выцветшими чернилами сохранены арабские слова. Это мой перевод пушкинского «Если жизнь тебя обманет». Под стихами тоже по-арабски стоит: «апрель 1938, переведено по памяти в тюрьме». Тогда же, в июле, я начал изучать армянский язык при помощи моего первого учителя по этой части – такого же заключенного, Пайтяна.

7 августа меня вызвали из камеры «с вещами», то есть навсегда. Я грустно оглядел помещение, где протекли первые полгода моей неволи; здесь родились новые мысли, которые, вынеся за эти стены, надо сберечь. Охранник открыл решетчатую дверь, я кивнул оставшимся товарищам, вздохнул и вышел. В кабинете следователя мне дали подписать бумагу о том, что я осведомлен: изъятые у меня письма и открытки моей матери – как не содержащие материала для обвинения – сожжены 14 июля 1938 года; конечно, гуманистам из НКВД так поступать проще, нежели возвращать «писанину», как презрительно они выражались, родственникам заключенных. Затем я был сведен во двор и водворен в тюремную машину, которая, получив груз, помчалась неизвестно куда.

За двумя вокзалами

Грузовик с наглухо зашитым кузовом вынесся из двора ленинградского Дома предварительного заключения на улице Воинова, 25, прогрохотал по Литейному мосту над Невой, затем свернул вправо, пробежал по Арсенальной набережной. Остановился у здания № 7, раздался нетерпеливый сигнал. Ворота распахнулись, грузовик прошел под полутемным длинным сводом и замер. Меня высадили, ввели в высокое кирпичное здание старой постройки с решетками на окнах. По узкой железной лестнице я взойшел на верхний этаж, здесь дежурный страж открыл передо мной одну из многочисленных камер, я вошел.

На досках, настланных на остов единственной койки, и прямо на полу в полутемном помещении тесно сидели полуголые люди. Бледные, давно не бритые лица были безучастны. Царило испуганное молчание, возникшее при скрежете отворяемой двери. Когда же она закрылась вновь, один из сидевших на койке спросил меня:

– Откуда в наши «Кресты», товарищ?

Вот куда теперь довелось попасть, в «Кресты»! Старая петербургская тюрьма за Финляндским вокзалом, печально знаменитая, изломавшая так много человеческих судеб.

– Откуда? Из «Домой пойти забудь». Спасайся усмешкой, арестант: скорей отскочит боль заточения, легче выжить.

– А-а, из ДПЗ, – проговорил собеседник, – Давно сидите?

– Полгода.

– Не так много, но не так и мало. А вы кто? Я удовлетворил естественное любопытство этого человека и других, жадно слушавших разговор своего товарища с новоприбывшими. Почему они «с ходу», только что, впервые увидев меня, начали сразу, с некоторой даже бесцеремонностью, столь настойчиво расспрашивать? Тут, конечно, сказывается скука длительной оторванности от живого дела. Жажда новизны и обостренное внимание к новостям тоже особенно сильны в тюремных стенах. Но, с другой стороны, каждый на этом крохотном пятачке, с которого некуда уйти, хочет знать – кто сосед? С кем невесть как долго придется вплотную спать, сидеть, разговаривать? Поддержит ли он в случае чего или продаст, утешит или толкнет глубже в пропасть?

А камера и впрямь была с пятачок: семь квадратных метров. Когда-то здесь была одиночка, а теперь тут наедине с парашей заперто двадцать человек, говорят, что и двадцать два было. По три человека на квадратный метр, в ДПЗ было все же по два. По два, по три – кого? Не забывайте единицу измерения: заключенных, этих можно натолкать сколько угодно. Новые товарищи постепенно меня просвещали: «Кресты» – два крестообразных корпуса, в каждом пятьсот камер; из общего числа работает 999, в тысячной погребен строитель. Всего прославленного сооружения безвестный зодчий-умелец. Итак, в этой тюрьме по нынешним меркам одновременно могут содержаться двадцать тысяч заключенных; а в Ленинграде имеется не одно учреждение такого рода.

Кое-кто добавлял: следующий за входом со двора круглый зал, откуда входят в четыре отсека здания и поднимаются на этажи – не простая площадка: сюда, бывает, сгоняют узников и объявляют им приговор суда, которого никто из них в глаза не видел: Особого Совещания при НКВД СССР. Оно, Совещание, не упоминается ни в каких законах, но существует и карает невидимые свои жертвы: кому – пять лет «исправительно-трудового» лагеря, кому – восемь, а кому и «потолок» – десять лет. Как повезет, словом, та же лотерея, что и с выбором предъявляемого обвинения.

«А вы заметили, – спросили меня, – обратили внимание, когда вас вели вниз: на входе в один из четырех отсеков решетки защиты досками? Это отсек смертников». И я вспомнил, как в нашу 23-ю камеру Дома предварительного заключения привели некоего Головина, которому

казнь заменили десятью годами заключения: еще не стар, а изжелта сед, все время дрожит и то и дело срывается на крик.

...Дни шли за днями, я постепенно осваивался на новом месте. Людей распознал не сразу: какие-то крестьяне с правобережной Украины, какие-то геологи из Узбекистана, молодой монгол, еще недавно учившийся в Ленинградском восточном Институте, – среди преподавателей у нас нашлось много общих знакомых; директор крупного предприятия за Невской заставой, его главный инженер, равнодушные к рассказам о приключениях, – я принялся повествовать им о некоем Госпеле, каждый день придумывая ему все новые и новые похождения. Эти сочинения на ходу, по-видимому, были довольно удачны – все больше обитателей нашей кельи отвлекались от обычных бесед и слушали меня, наконец, они ежедневно стали напоминать о продолжении рассказов и я, творя и тут же излагая свое творение, вел нить повествования все дальше.

Но из встретившихся мне в камере «Крестов» осенью 1938 года более других отложились в памяти Миша Церельсон и Лю Чжендун.

Миша был оператором киностудии «Ленфильм». Когда его арестовали, он потребовал свидания с прокурором, чтобы доказать несостоятельность обвинения. Требования не выполнили, и Миша прибегнул к последнему средству, редкому в ленинградских тюрьмах, – объявил голодовку. Не подействовало: жизнь каждого заключенного ставилась ни во что, его можно было безнаказанно искалечить и даже убить. Но у тюремного врача нашлось кое-сколько человечности в сердце – он уговорил Церельсона прекратить голодовку, выписал ему для поправки триста граммов белого хлеба и стакан молока в сутки – большее, наверное, было запрещено. И тут этот Миша стал пытаться делить свое сокровище со мной...

Другого соседа по камере, с которым я сблизился, звали Лю Чжендун. Миша только что родился, когда Лю во главе отряда китайских добровольцев защищал новорожденную Советскую власть от Колчака. Из гражданской войны он вышел с простреленными ногами, но, к счастью, все постепенно зажило и в камере он даже попытался однажды показать исполнение какого-то китайского военного танца. Я попросил его познакомить меня с иероглифами. Как положено по уставу просвещенной темницы, у нас не было ни бумаги, ни карандаша, но старых арестантов, какими мы уже были, это не смущает: можно ведь писать концами обгорелых спичек на развернутых папиросных мундштуках. Тем и другим снабжали нас курильщики, нам оставалось работать. Лю терпеливо учил меня китайскому языку, может быть, ему самому хотелось напомнить себе родные слова вдали от своих отчих мест. Я напряженно старался постичь таинства открывавшегося мне нового мира, не всегда это сопровождалось успехом. Помню, долго не удавалось уловить разницу в произношении слов «шу» – «дерево» и «шу» – «книга».

– Как твоя не понимай? – удивлялся мой учитель и даже сердился. – Твоя смотри: это «шу», а это – «шу»!

Разница была тонкой, но постепенно удалось ее «схватить». Мало помалу, спотыкаясь, я начал объясняться с Лю по-китайски. Общение происходило не только на уроках: мы часто делились друг с другом хлебным и сахарным пайками.

Мишу Церельсона и Лю Чжендуна вызвали из камеры «с вещами» раньше меня. Вскоре, 26 сентября, пришла и моя очередь.

Меня не вывезли из «Крестов», а спустили в первый этаж и водворили в холодное, странно пустое помещение. Но нет, не пустое: когда глаза привыкли к полутьме, я увидел Нику Ереховича. Он был погружен в раздумье, столь глубокое, что не слышал грохота ни отворенной, ни вновь захлопнутой двери камеры.

– Здравствуй, Ника, – проговорил я, садясь рядом с ним на узел со своими пожитками. Он вздрогнул и оживился.

– Здравствуй! Ты получил обвинительное заключение? Как же без этого? Вот оно.

– Дело-то плохо: нас будет судить военный трибунал.

– Да, военный трибунал Ленинградского военного округа. Это какая-то ошибка – ведь ни я, ни ты, ни Лева Гумилев, третий наш со-процессник, никто из нас никогда не служил в армии. У нас была студенческая отсрочка. Я думаю, на суде это должно выясниться.

Ника горестно вздохнул.

– Выяснять не станут. Вероятно, дело передали на трибунал потому, что нам пришивали террор. Тебе его сватали?

– Да, приписали подготовку покушения на Жданова. Это как всем, арестованным в Ленинграде. Только быстро отстали, наверное, остатками ума поняли: ни в какие ворота не лезет.

– Меня тоже обвинили по террору, и я не помню, осталось ли это в протоколе. Все плохо. Я положил руку на Никино плечо.

– Брось. Как-то все будет, перемелется. Если засудят, подадим кассацию... Не может быть, чтобы карали невиновных. Все-таки, следствие – это одно, а суд – совсем другое, тут и адвокат полагается.

Ника хотел возразить, но тут шумно приоткрылась дверь и сразу столь же шумно захлопнулась. Это впустили к нам Леву Гумилева.

– Ну, вот, все в сборе – сказал он, подходя. – Здорово, братцы.

Завязался немолчный разговор. Так давно мы расстались, так долго не виделись! Вспомнили университет, своих учителей, друзей. Дивились внешнему виду друг друга: у Левы и Ники за месяцы неволи отросли усы и окладистые бороды: у меня растительности было меньше, но сильно исхудало лицо, глубоко западали глаза.

– Вот так, братцы, – раздумчиво проговорил вдруг Лева и вздохнул.

– Сидим и ждем, когда нас начнут судить по ложным протоколам.

– Тебе хорошо, – грустно пошутил я. – Ты как расписывался? Достаточно к первой букве имени приставить первый слог фамилии и все будет в порядке: «Лгу».

– Я так и делал! – вскричал Лева и засмеялся. Даже удрученный Ника улыбнулся злой игре букв. Постепенно речь зашла о филологии, потом все мы углубились в историю Востока. Пошли споры, до которых Лева был большой охотник. Вечно – и когда мы учились в университете, и сейчас – он доказывал что-то свое, но и у меня было собственное мнение, и Ника уже думал по-своему. Так, воюя доводами, приводя одно изощренное возражение за другим, каждый из нас позабыл, где мы находимся, и выпала из головы мысль о трибунале. Тюремная ночь с 26 на 27 сентября 1938 года подходила к концу: обессиленные спорами, мы прикорнули друг возле друга.

Утром нас подняли, заперли в грузовик, повезли, высадили. Снова слепой асфальт казенного двора, снова лестница, коридор – и узкий застенок, словно в первый день заключения, тогда, 11 февраля. Как давно это было! Но сейчас я вижу стены, исцарапанные надписями. Мы трое вглядываемся в знаки человеческой скорби, в памятники отчаяния и мужества; читали с Никой древние семитские рукописи, теперь читаем новейшие русские. «Здесь седел...» Кто-то, не умудренный большой грамотностью, хотел начертать «сидел», но какая красноречивая ошибка! Здесь в течение нескольких мгновений седеют, отсюда часто не выходят – выносят.

«Смотрите! – возбужденно шепчет Лева – Они уже осуждены!» Эта надпись о судьбе шести знакомых ему студентов: фамилия – срок, фамилия – срок. Двум дали по шесть лет «исправительно-трудового» лагеря, двум – по восемь, двум – по десять. Рядом другой рукой надпись по-немецки: «несмотря ни на что!» А дальше по-итальянски – стих Данте, легший на врата ада.

Нас выпустили и повели наверх. Впереди – конвоир, за ним Лева, за Левою конвоир, за ним я, за мной конвоир, за ним Ника, а за ним все шествие замкнули два конвоира. Пятеро

вооруженных людей против трех безоружных. Когда недомыслие хочет представить себя сильным, оно невольно обнажает свою слабость, заключенную в трусости.

Ввели в небольшой зал, провели мимо построенных шеренгами стульев, усадили в первый ряд. Перед нами был длинный стол, за которым восседали судьи; конвоиры встали позади обвиняемых. Из окна за судейским столом открывался вид на площадь Урицкого – Дворцовую с ее вечным столпом и ангелом. Вот где поместился военный трибунал, в самом сердце великого города.

Председательствовавший Бушмаков, члены суда Матусов и Чуйченко, секретарь Коган были в военной форме; по замыслу подготовителей процесса это должно было производить устрашающее действие на подсудимых. Никакого адвоката, одни прокуроры. С конвоирами, готовыми кинуться и растерзать по первому знаку, – девять человек против трех беззащитных.

Первым допрашивали Гумилева.

– Признаете себя виновным?

– Нет.

– Как же так, – сказал Бушмаков, лениво перелистывая лежавшее перед ним дело – вы же подписали.

– Меня заставили следователи: Бархударян и тот, другой, в протоколе он указан. Я подвергся воздействию, были применены незаконные методы...

– Что вы такое говорите! – прервал Бушмаков. – У нас все делается по закону. Пытаясь уйти от ответственности, вы делаете себе хуже. Тут же ясно написано: я, Гумилев, состоял... проводил систематическую, ставил своей целью... Теперь запирательство бесполезно. Садитесь.

Таким же образом, повторяя наскучившие обвинения, председатель говорил с Ереховичем и со мной. Члены суда безмолвствовали, никто из них не попытался обратить внимание на отсутствие независимых доказательств, на грубую работу обвинителей. Глядя на скупающие лица военных судей, можно было сразу понять: присутствуя при очередной – сотой, тысячной или десятитысячной – расправе, зная, что обвинительный приговор предрешен, они хотели, чтобы все это скорее кончилось и можно было вернуться к житейским удовольствиям. Поэтому, важно удалившись по окончании судебного следствия в совещательную комнату, они там, наверное, просто пили чай и переговаривались о всяких разностях.

Мы же на это время были уведены в знакомый застенок. Потом охрана вновь привела нас в зал, и мы слышали, что именем... военный трибунал, рассмотрев... приговорил Гумилева к десяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на четыре года; Ерехович и я получили по восемь лет лагерей с поражением на три года. Всем троим была определена конфискация имущества, скудных студенческих пожитков.

Ну вот. Отныне мы уже не подследственные, а осужденные. На все представление ушло примерно три часа. Когда занавес пал, нас погрузили в машину и повезли прочь. Куда на этот раз?

Паскаль как-то сказал: «Справедливость является предметом споров. Силу легко узнать, она неоспорима. Вот почему не смогли сделать так, чтобы справедливое было сильным, а сделали сильное справедливым».

Но вот много лет спустя мне довелось видеть фильм о художнике Эль-Греко; место действия – Толедо, время – 1576 год. Эль-Греко схвачен инквизицией. – «Я невиновен», – говорит он судьям. «Докажи это», – отвечают ему. «Но где доказательства моей вины?» – «Святая инквизиция не нуждается в таких доказательствах» – заявляют судьи, помня, что арестован он по доносу набожного сына церкви. И – все-таки инквизиция находит Эль-Греко невиновным и отпускает!

Даже инквизиция...

Когда мой брат, приехавший в Ленинград из далекого Азербайджана, смог попасть на прием к одному из осудивших меня членов трибунала, тот сказал ему обо мне:

– Я знал, что он и его товарищи невиновны, – с делом-то знакомился. Но ничего нельзя было сделать, сейчас такое время...

Разговор происходил вскоре после суда.

«Такое время...» Перед этим временем оказались бессильны все – от пастухов до маршалов, от целеустремленных юношей до старых революционеров, от узников до судей.

Мы – осужденные, поэтому нас привезли в пересыльную тюрьму на Константиноградской улице, 6. Это за Московским вокзалом, там, где укромнее: течет себе тихая речка Монастырка, рядом заросли, глухие улицы. Поменьше лишних глаз, для тюрьмы так удобно.

«Пересылка» напряженно работала: отсюда постоянно отправлялись этапы заключенных, они шли во все концы страны, в разнообразные точки Главного управления лагерей НКВД СССР (ГУЛАГА). Может быть, потому, что на Константиноградской содержались люди с уже решенной судьбой, когда закончившемуся следствию помешать невозможно, режим был здесь чуть повольнее: разрешалось ходить к приятелям в другие камеры, подолгу засиживаться «в гостях», беззаботно разговаривая о том, о сем. Камеры оказались просторными, но каждая изобиловала населением. Люди спали на полу, тесными рядами, на спальных местах их владельцы помещались и днем. Я с Никой и Левой расположились вместе, но ходили в соседнюю камеру, к тем шести студентам, о судьбе которых узнали из надписи в застенке военного трибунала: «Дернов приговорен к шести годам заключения, Предтеченский – тоже. Гольдберг приговорен к восьми годам заключения, Люблинский – тоже. Давиденков приговорен к десяти годам заключения, Ярошевский – «тоже». Мы с ними делились воспоминаниями о следствии, трибунале, потом... «А что, ребята? – предложил кто-то, – давайте читать лекции! У каждого из нас есть, что сказать по своей части, есть свой конек, иначе для чего учились?» И пошло новое дело. Не вспомнить всех докладов, но звучат в ушах левины выкладки о хазарах и сообщение Ники из недавно задуманной им книги «История лошади на древнем Востоке». Сам я докладывал об арабской средневековой картографии. Много было вопросов и высказывались подчас неожиданные суждения – ведь каждый из нас узнавал для себя новое и каждый, истосковавшись по студенческой скамье, спешил «тряхнуть стариной» и показать, прежде всего себе, что еще не все потеряно. К этому времени относится мой перевод из арабской поэзии, сделанных мной по памяти: когда-то, на третьем курсе, мы читали эти стихи в подлиннике:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.